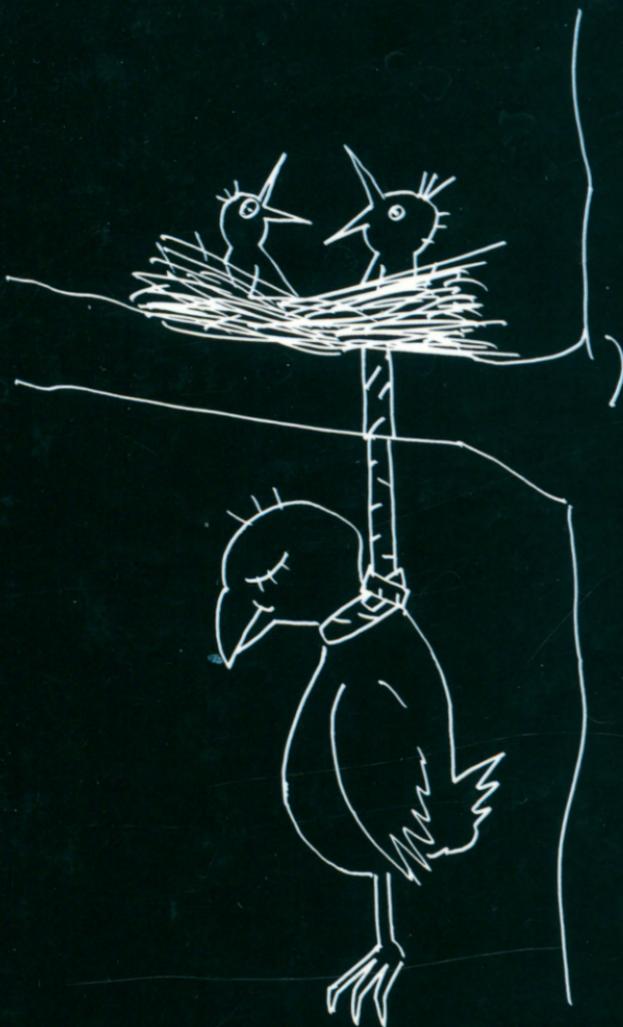


Дмитрий БЫКОВ

Прощай,
кукушка

Р А С С К А З Ы



Прощай,
кукушка

Дмитрий
БЫКОВ

ПРОЗАИСК

ΠΡΟΖΑ noX

ДМИТРИЙ БЫКОВ

Прощай,
кукушка

Р А С С К А З Ы

МОСКВА/ПРОЗАиК/2011

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б95

В оформлении переплета
использован рисунок
Павла Рубина

Дизайн Татьяны Костериной

Быков Д.Л.

Б95 Прощай, кукушка: рассказы / Дмитрий Быков. —
М.: ПРОЗАиК, 2011. — 272 с.

ISBN 978-5-91631-118-1

В сборник «Прощай, кукушка» вошли 16 рассказов
Дмитрия Быкова — как публиковавшиеся ранее,
так и совсем новые. Автор считает, что его рассказы —
это «сны, мои или чужие, иногда смешные,
но чаще страшные».

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-91631-118-1

© Быков Д.Л., 2011

© Рубин П.Л., иллюстрация, 2011

© Оформление. ЗАО «ПРОЗАиК», 2011

ХРИСТОС

*...что именно такое, похожее
на все остальные лица, и должно
быть лицо Христа.*

И.С.Тургенев. «Христос»

20.09. 75 наряд по КПП, 192 дня до приказа

Чем хороша рота, так это полной одновременностью всего у всех. Со временем этот феномен, наверное, объяснится как-то — то есть зубы, например, заболевают у всех одновременно, и, стоя еще по молодости на тумбочке ночью в наряде по роте, наблюдаешь, как один за другим мужики подходят к зеркалу, высматривают больной зуб, бегают в лазарет за каплями, прикладывают к деснам эту «денту», которая толком не помогает, только оттягивает боль. То же и с желудком, и не по вине повара, а из-за того же закона, и с простудой — прошлой зимой были дни, когда по подъему подымалось человек тридцать, не больше, остальные либо отбивались в расположении — в лазарете всего пять мест, — либо, с более легкой формой, вставали потом и становились отдельно; их оставляли в роте — ремонтировать расположение, что-то красить: весной ждали комиссию. То есть все происходит одновременно. Вечером все добры и благодущны: день прошел. Утром — хмуры и раздражительны: день впереди, недосып, орут на молодых — паче всего, конечно, на Чувилинского, да и всем достается.

Вот и теперь: когда о чем-то заговорят — на следующий день слухом полнится вся рота. Сегодня перед нарядом, в котором я все это пишу, ко мне подошел Серега Максимов и сказал, что близится конец света. То ли ученые просчитали, то ли пролетает какой-то метеорит. Вечером из водительского взвода Ванька Колодный, длинный сутулый хохол, сказал, что в городе на выезде слышал разговоры: всё, скоро нам, ребята, крышка, летит комета. Наконец, вечером зашел дежурный по части проверить нашу с Валентиновым бдительность (Валентинов — молодой и по КПП стоит третий раз) и сказал, что всё, Серега, действительно летит какая-то комета и если в ближайший месяц врежется в Землю, то полетят клочки по закоулочкам. Даже с поправкой на преломление все это, вероятно, не лишено. Правда, не помню времени, когда таких слухов бы не распускали, да у нас теперь о чем угодно готовы говорить — о подорожании сахара, о конце света, о подорожании сахара в связи с концом света, о конце света в связи с подорожанием сахара... Вообще всегда можно ждать, может, и конец. Обидно, что до дембеля уже мало, а тут комета. Авань обойдется.

Сейчас ночь, в два меня придет менять Валентинов, если дневальные его подымут вовремя, а если не подымут, я им завтра вдую по первое число. Не так, конечно, как нам в свое время вдвудали, а чисто вербально. Книги никакой у меня нет, только тетрадь эта, которую привез из отпуска, чтобы не разучиться писать. Прежде я все больше ходил в наряды по роте, по столовой, теперь, со второго года, в основ-

ном по КПП. Правда, часто: народу у нас меньше в связи с сокращениями и прочим. Сокращения приятны, но по нарядам летать надоело. Одно радует: дембель близится, на двести никто из наших уже не ел масло, там — сто пятьдесят, сто, а там вообще всё, нас обещали после приказа не держать. На аккорд, скорее всего, я возьму себе тот же КПП.

Письма домой я уже написал, остается курить — водилы привезли из города «Астру», — писать это все да слушать, как у нас мышь под полом шуршит. С утра Валентинов будет подметать листья — я ему, впрочем, отчасти помогу. Забавно потом это все будет почитать.

Хотел бы я знать: конец света — чем это должно знаменоваться? С одной стороны, все говорили, что звезда Полюнь — это Чернобыль, так как Чернобыль и есть полюнь, и от него горечь потекла в реках. На самом деле какой ужас весь Апокалипсис — и я ведь только в переложениях его знаю, не в подлиннике, а там, наверное, страшнее. Будут еще какие-то насекомые, пожрут людей, будут три всадника... потом три ангела... не помню. Надо взять почитать что-нибудь, у нас там атеистического целая полка. Но главное — помню однозначно, что должно быть второе пришествие Христа. Если пока его нет — слухи о конце света вполне дуты.

Мышь эта под полом меня сильно достала. Ночь кругом, сейчас дождь пошел. Половина второго. Скучно и спать хочется. Что писать еще?

Через три дня я дед. Ура!

28.09. 77 наряд по КПП. 184 дня до дембеля

Взял в библиотеке части почитать «Сказания апостолов» в переложениях Косидовского. Очень занятно. Христос был, в чем я никогда и не сомневался. Тут он, конечно, не такой, как в «Мастере». У Косидовского есть тут свидетельства, по которым он вовсе не был «прекраснейшим из сынов Израилевых». Писали, — не для того же, чтобы оклеветать?! — что он был и мал, и уродлив, и вызывал чуть ли не омерзение, и в него кидали грязью, и тем сильнее было противоречие между его обликом и речью. Думаю, что он ТАКОЙ мог бы и ничего не говорить — он своим видом достаточно взывал к милосердию. Вот ведь, оказывается, как он выглядел, в армии бы его такого вообще зачмырили, прошу прощения, — почему-то высшей добродетелью у нас тут почитают чистоплотность, и не начальство, а свои же. «Погляди на себя, ходишь, как чмо», — это я часто слышал на первом году, а сейчас сам говорю так тому же Чувилинскому. Он со мной сегодня в наряде. Чувилинский заслуживает описания.

Для кого и чего я описываю Чувилинского? Для потомков? — я сделаю все, чтобы эта тетрадь до них не дошла, я ее торжественно сожгу на даче после дембеля (будет же это! И скоро уже довольно будет!) — а для себя? — так его я по гроб жизни не забуду. И все-таки пишу, потому что делать нечего, ночь, мышь, тишь, Чувилинский придет только через полтора часа.

Чувилинского зовут еще «литтл Чуви» или просто Чуви. Он длинен, как его фамилия, — не высок, а длинен, у него бородавки, и такие

же бородавки у его матери, она приезжала к нему как-то, Чуви всех оделял гостинцами, но и гостинцы у него брали неохотно. В Чуви все будит брезгливость. Чуви не то чтобы грязен — у него одутловатое лицо, маленькие глазки, выражение униженной и тупой ласковости. Выходит невыпукло, надо тренироваться, но я не писатель; нас учат литературу преподавать, а не портреты писать. Чуви туп безнадежно. Он совершенно не умеет с людьми. Раз его били в сушилке — тогда еще не ушли наши деды, он по тупости против них залупился, но залупился без всякого собственного достоинства, а как-то так чмошно! — и у него еще хватило ума в сушилке орать: «Вы чего — я же к вам по-хорошему!» Ржали они сильно. Сопризывники Чуви ни слова не говорили и в сушилку не заходили, хотя будь там кто другой, не Чуви, — тоже не зашли бы, такова сволочная наша природа, — но уж тут был Чуви, и за него никто вообще не хотел вступаться. Говорили сначала, что он постукивает, потом поняли, что у него и на это не хватило бы ума, — армия вообще культивирует стукачество, тут трудно устоять: делают с тобой всё, чтобы ты застучал, а застучишь, не дай бог, — и ставь на себе крест. Но, к счастью для себя, Чуви туп и для этого. В его тупости есть что-то демоническое, сверхъестественное, он ни на что не реагирует, чувство собственного достоинства у него к нулю сведено. Как-то его доставали наши:

— Чуви! У тебя девушка есть?

— Есть, — с робким самодовольством (непредставимое сочетание).

— А как ее звать?

— Оля.

— Ну, и как же ты с ней...

Чуви неуверенно хихикал.

— Она сама тебя сверху кладет или кое-как взбираешься своими силами?

Он опять хихикал.

У меня и Чуви, и эти фокусы вызывали равное омерзение: когда я говорил «хорэ, мужики», а когда и просто не участвовал — тем мой протест ограничивался. Ведь в роте как: сейчас всё вроде в порядке, друзья есть, врагов явных не видно — а выделишься чуть, и займешь нишу Чуви. Когда сто здоровых рыл, работать надо, строевая каждый день и сало на завтрак, обед и ужин, — обязательно есть ниша чмыря, чмошника, эта ниша занята Чуви, но любой из нас — я говорю: любой! — может в ней оказаться ежесекундно. Тут надо балансировать на проволоке, чтобы и самому себя не съесть от совести, и тебя чтобы не съели. Я что-то уже путаюсь в словах, и выходит коряво, я спать уже очень хочу.

Стоит мне завтра сказать, что Чуви меня не сменил вовремя, — и КПП ему не видать больше, как собственной отвислой задницы (он ее как-то странно отклячивает при ходьбе). Будет летать по роте, как милый. Он и так все больше по роте, КПП — халявный, дедовский наряд, ставят дежурным старика, а помощником — молодого. Сейчас Валентинов, который обычно со мной ходит и хорошо все всасывает, просто болен, — а то б Чуви и теперь гнил на тумбочке, как все мы на ней гнили. Уходя из

части, я охотно сжег бы тумбочку; я и сейчас охотно ее сжег бы. Если Чуви опоздает, я прокачаю ему грудак. Нет, напротив, я не прокачаю ему грудак. Я пишу уже любую чушь, чтобы не заснуть. Чушь. Тишь. Ночь. Мышь. Сочинить рассказ, весь из таких слов.

Если Чуви меня не сменит, я не знаю, что я с ним сделаю, — я тогда засну, дежурный по части меня найдет, снимет с наряда, я тогда заставлю Чуви... я ничего не заставлю Чуви, это без меня найдется кому делать, я не умею этого всего, и потом я брезгую с ним иметь дело. Чуви туп и нечист. Я повторяюсь, а что мне делать, я иначе засну.

Издали вижу: идет Чуви. Руками болтает нескладно.

Спать.

15.10. 80 наряд по КПП. 167, после отбоя 166 дней до дембеля

В роте отбой. Скоро 150, там совсем близко 100.

Там совсем близко дом. Всю жизнь хочешь, чтобы время шло подольше, — кому умирать-то охота?! — но в армии этого не чувствуется: тут скорей бы. Наш паровоз, вперед лети!

Таковыми надписями был весь прежний стол на КПП изрезан, там и моя была, вчера или позавчера стол заменили, сижу пишу.

Интересно у Косидовского: оказывается, многие в Христе видели бесовское, дьявольское начало. Он изгонял дьяволов, бесов — значит, имел с ними связь. Предположить, что они ему просто так подчинялись, для тог-

дашнего разума было невыносимо. Легче было допустить, что он — их князь. Особенно если предположить его уродливый облик — жалкий или страшный, какой угодно. Но в нем могли видеть нечто демоническое.

Занятно вообще: в крайних проявлениях уродства, тупости есть нечто вообще мистическое, жуткое. Не забуду никогда, как в Тимирязевском музее видел заспиртованного анацефала, так, кажется, — зародыша без мозга. То есть голова была, но какая-то треугольная, без черепной крышки или просто с чем-то оттуда торчащим — брр... Мне казалось (а он был весь серый, заспиртованный, цвета замазки), — мне казалось, что он что-то жуткое знает, эти закаченные глазки, очень почему-то выпуклые, этот вид его... я потом из музея, после экскурсии, отстав от класса, бежал в диком страхе — темно, район незнакомый почти, хотя всего и времени — часов семь вечера, — и еще мне под ноги упал какой-то пьяный, я давно заметил, что есть такой «паровоз» — если что-то тебя испугало, то все будет подбираться и пугать, одно к одному. Счастливый человек притягивает счастье, а несчастный наоборот. Так и в армии: если ты весел, все к тебе добры, а если грустен — тут же и добавят. Чуви только добавляют.

Так вот, — на Руси ведь всю жизнь боялись, чтили юродивых, дурачков, у Леонида Андреева в повести идиот вообще символ рока, это я по школе помню, нам говорили, и сам я читал. Что-то во всем этом есть жуткое, я всю жизнь шарахаюсь от даунов, и в Чуви что-то такое

есть, в его покорности, маленьких глазках, туповатой улыбке, в его непрерывном бурчании в животе, в его дурном запахе изо рта (я стараюсь отворачиваться, когда он говорит), — в его наивности, доходящей до я не знаю чего. На прошлой бане он подходит ко мне — помаз, годовик, к деду! — и говорит с улыбкой блаженного идиота: «Сережа, потри спинку!» Глазки светятся кротостью и тупостью (светиться тупостью нельзя). И главное — на всех пена как пена, на нем — серая, жидкая, омерзительного вида, волосатая сутулая спина, отвисшее пузо, он не толстый, но кажется толстым; тонкие ручки, длинная, нескладнейшая фигура. «Ты что, — говорю, — Чуви? Ты охренел? Иди! И не вздумай припахать какого-нибудь молодого, я уши твои лопухие тебе оборву!» Он виновато улыбнулся, не сказал ни слова, пошел, мокрый, обливаясь из шайки (в баню мы ходим в поселок, тут и шайки, и душ, но молодежи под душем мыться не положено). Гад я или не гад после этого, но никакой жалости я к нему не чувствовал — к этой волосатой заднице, тонким ногам, дурацкой походке, — я утешаю себя тем, что он сам себе все это и заслужил, но ведь каждый из нас может быть на его месте, случись что... И еще я утешаюсь тем, что Чуви типичное быдло, и если найдется кто-то чмошнее, чем он, — первым будет чмырить этого несчастного, применяя к нему все те изошренные фокусы, которые только что испытал на собственной шкуре.

Так что я не жалею Чуви, я дураков вообще никогда не жалею, и сам ни в чьей жалости не

нуждаюсь. Что-то я расписался, мне и спать сегодня не хочется, и потом — я же должен хоть сам-то себе объяснить Чуви?! Недавно я на техтерритории опоздал на обед, затрепался с молодой кладовщицей на складе — у нас гражданских много в части, — прибежал, нелепо болтаясь, Чуви в своих не по размеру сапогах, с ласковой и тупой улыбкой, напрашивающейся на дружеское расположение: «Тебя в строй вызывают!» — голос низкий, тягучий, унылыый... И так я наорал на него! — и оттого, что сейчас за опоздание в строй дрючить будут, и оттого, что так он улыбался тупо — радовался, что ли, тому, как меня сейчас?.. А он не прекращал улыбаться, и в этой улыбке действительно что-то было демоническое; демон Чуви! — анекдот, кому рассказать, но действительно: мистическая фигура, демон Чуви!

В прошлый раз он, стоя со мной в наряде по КПП — или в позапрошлый? — совсем я путаюсь во времени! — оставил тут бумажку со своим письмом, а я, грешным делом, прочел. Начало письма к возлюбленной. «Дорогая Оля! — прямой, идиотский почерк. — Как ты поживаешь? Я живу хорошо»... Демон Чуви!..

25.10. 82 наряд по КПП. 158 после отбоя до дембеля

Дочитал Косидовского сегодня ночью. Как раз коновал выезжал из части (коновал — наш полковник, почему его так зовут, уже не докопаться — то ли за ярко-красную рожу, то ли по причине якобы жуткой его силы; говорили, он чуть ли не быка сваливал, но это, по-мое-

му, просто тяга к легенде какой-то — нельзя же допустить, что ты в полном подчинении у совсем уж ничтожества, надо ему изобрести хоть какой-то плюс — так, я думаю, это подсознательно объясняется). Коновал выезжал из части, я зазевался из-за чтения и еле успел открыть ему ворота. Господи, из-за каких вещей тут трясешься! Но успел, даже несколько прорубился, он мне отмахнул честь, уехал. С отъездом коновала в части полный покой.

Что-то я теряю мысль. Дочитал Косидовского. И странная вещь мне приходит: мне все кажется, что Христос явился не для того, чтобы что-то проповедовать. В конце концов, все эти заповеди уже были заложены в Ветхом (прерывался. Приходил дежурный по части) Завете, в Ветхом Завете. Там он и был предсказан. То есть он, конечно, все это очеловечил, приблизил и так далее, и красиво проповедовал, и говорил, и был очень обаятелен, наверное, — но мне все больше представляется это так: пришел нарочито уродливый, жалкий, ничего не делающий и не умеющий человек — только для того, чтобы проверить, как люди чтят Ветхий Завет и главное — насколько они люди. То есть — я не очень знаю, какая нравственность была заложена в Ветхом Завете, но думаю, его послали проверять, есть какие-то общечеловеческие правила у них или нет. И вообще, верующим я себя не назову, но у меня, как по Стругацким, часто бывает ощущение, что нам та или иная вещь посылается ради проверки нашей реакции. Мне представилось, что здесь был тот самый случай, и человечество этой про-

верки не прошло, потому что им, во-первых, подкинули не такого, как все, а это уже кошмар, а во-вторых — не такого в худшую сторону, то есть грязного, оборванного и т.д. Правда, если бы он был красавец, как о том писали, то все равно эта история повторилась бы. Кстати, если он был уж настолько жалок — стоило ли его распинать? Но, может, он действительно так проповедовал, что без этого нельзя было обойтись? Меня там другое потрясло: «Не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий». Значит, бодрствуйте. Значит, он может прийти в любой момент.

Значит, он может прийти в любой момент.

Что-то я начинаю повторять фразы, то есть задумаюсь, а потом пишу то же самое. Это оттого, что очень голова болит и постоянно недосып.

Я всегда был уверен, что все не как все, нет одинаковых, но теперь вижу, тут есть какие-то вещи. Надо их в себя упрятывать, особенно в армии, я и упрятывал подсознательно, и мне трудно уже сказать, какие это вещи. Почему травят Чуви (ладно, будем честно: почему все мы, включая меня, травим Чуви), я еще могу понять: потому что надо кого-то травить, а он по определению безответен. А если бы он мог вмазать в ответ? Тогда травили бы не его, а кого-то еще, этим кем-то свободно мог оказаться я, и меня бы ничего уже не спасло, как и любого другого.

То-то и кошмар: мы травим Чуви, а на самом деле травим не его, а нишу, а в нише может быть любой из нас, то есть мы травим себя же, это получается абсолютно по Христу.

Одно я могу сказать совершенно определенно: мне Чуви отвратителен. Он настолько туп, что это выглядит закосом. Но если это и закос, а может, и не закос, не знаю, — как бы то ни было, если Чуви нам послан для испытания, мы этого испытания категорически не выдерживаем.

Однако они и нашли, куда его заслать: в армию! Христа, когда его взяли, всю ночь били солдаты в караулке (там уже были караулки! — это есть где-то такое указание, или я тоже у Андреева читал?). К солдатам вообще никого нельзя засылать, тут бы не только Христа, тут бы всех апостолов...

От однообразия нашей жизни можно с ума сойти.

Валентинов принес курева.

Мишка Ковальчук сказал, что я стал странный. Он это сказал с хихиканьем. Это значит, что если я стану чуть более странным, я могу заполнить нишу. Как только я понял, что она существует, я стал ее бояться, а как только начинаешь бояться — тут привет.

Это все фигня. Мне до дому почти полтораста. Это фигня уже.

Первым делом я все-таки сожгу эту тетрадь. Потом сяду в ванну.

29.10. 83 наряд по КПП. 152 после отбоя до дома

Вчера Чуви не поставил свои сапоги в сушилку, он устал и лег спать, потому что его послали на разгрузку вагона, там была мебель для военных городков, он наломался. Он поставил сапоги около кровати. Его распинали... то есть что я пишу? Я имел в виду, что его разбудили пинками, пинали, пока не отнес сапоги. Потом

сержант младшой, его сюрпризвник, Ванька Мельников, откуда-то чуть не из-под Воронежа, его заставил нюхать ногу: четыре человека сидели на Чуви, хотя его можно было и не держать, а Ванька совал ему ногу свою в нос. Чуви чего-то был, но очень чмошно.

Я их разогнал, но это мало что дало — они уже и надо мной улыбались.

— Вон любитель Чуви, — сказал сегодня Ванька.

Кто-то из наших его осадил, но и наши уже не понимают, с чего я защищаю Чуви. Они не понимают, что я не его защищаю, — на фиг он мне сдался — я, может, душу свою спасаю, в городе вон всю говорят — конец света, конец света... Если Чуви действительно нас испытывает, то ведь нам всем тогда гореть. Вообще шутки шутками, но могут быть и дети.

Все последнее время у меня жутко болит голова. Меня доводит эта жизнь, этот напруг, эта бессонница. Я не говорю об этом никому и в письмах не пишу, но себе самому могу сказать. Я начал разговаривать сам с собой на КПП, Валентинов со мной однажды стоял, я не заметил, как он вошел с обеда (я ходил есть с расходом), — он сказал, я разговаривал о чем-то, он тоже хихикал.

В армии после года у мозга нет новой пищи, он начинает, как голодный желудок, сам себя переваривать, начинается то же, что и язва желудка, но только язва мозгов. Жуткое дело. Вообще, пока человек подозревает, что он сходит с ума, он, значит, еще не сошел. Но правы были деды: последние полгода — самая жуть. Как первые. Потому что уже мысли только о доме,

делать ничего не можешь по определению, мозги едят сами себя. Может, поэтому у меня так болит голова.

И почерк у меня изменился: я все время боюсь, закончив слово, оторвать от него ручку: рисую его как-то, дорисовываю, ставлю точки, крючки — мне кажется, если я оторву ручку раньше, чем надо, что-нибудь произойдет. Я смотрю на Чуви и всего боюсь.

Если мы все будем гореть (приходил дежурный по части, спросил, отчего глаза красные), если мы все будем гореть, это очень обидно.

5.11. 85 наряд по КПП. 146 п.о. до дома

Он был без отца, и Чуви тоже без отца.

Я тоже без отца, но это ни о чем не говорит.

Мать Чуви зовут не Мария — не помню как, но точно иначе, к ней по имени-отчеству обращался замполит. Чуви не еврей.

Если б он был еврей, его бы вообще...

Но они же не будут унижаться до таких мелких совпадений, им важен принцип. Наоборот, им лучше, чтобы он был непохож. Бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа. Чтобы никто не узнал.

Прошло две тысячи лет, а мы не изменились, мы прокололись.

Но кто им велел в армию, в армию его засылать? — на гражданке, говорят, он студент, у него все благополучно, — хотя какой из него студент? Разве что техникума? Нет, не могу...

Неужели я сам поверил? — но ведь конец света не я придумал...

В конце концов, если я стал читать Косидовского, то это ведь тоже не случайно. Я сам

бы в жизни не стал читать Косидовского. Это мне кто-то ВНУШИЛ, что это надо, чтобы я понял, чтобы я предупредил. Я ничего не сделал. Я стою сейчас в предпраздничном наряде. Какая идиотская фраза, если вдуматься: представляешь себе человека, предпразднично наряженного. Только что впустил в часть машину с праздничным обедом.

Мне из института письмо пришло.

Я уже что угодно готов писать, чтобы не думать. У меня голова разваливается, разламывается, затылок больше, у меня будто всю распирает ее. Господи, как у меня болит голова. Он умел лечить головную боль. Чуви ничего не умеет. Это еще ни о чем не говорит. Может, у них просто так проходила голова, а они приписывали ему. Попросил у медика нашего две таблетки анальгина. Он пойдет с расходом и принесет мне.

Надо чем-то отвлечься срочно, иначе я еще и не такое себе изобрету.

И все-таки что-то такое на нас летит — вчера была передача по местному телевидению. Значит, все не фигня. Значит, это именно я и должен буду сказать.

После анальгина. Выпил, легче. Перечитал. Ужас, что я пишу.

7 ноября

НЕТ, ВСЕ ПРАВИЛЬНО. Я ВСЕ ПОНЯЛ. СПАСИБО ТЕБЕ, ГОСПОДИ, ЗА МОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Я ВСЕМ СКАЖУ.

На этом обрываются записи в черновой тетради, найденной в тумбочке рядового Сергея

Н., фамилию которого мы из понятных соображений не называем.

7 ноября, во время заступления праздничного наряда, когда рядовой Чувиллинский, лишенный праздничного увольнения, должен был заступить дневальным по роте, пришел с развода и уже становился на тумбочку, проходивший мимо младший сержант Мельников дал ему пинка. Все засмеялись. В этот момент, неожиданно для всех, Сергей Н., в чьем поведении уже и раньше замечали небольшие странности, отпихнул Чувиллинского, вскочил сам на тумбочку и закричал на все расположение:

— Не трогайте его! Это Христос!

Поначалу это было принято за новую шутку, и Мельников пообещал даже распять Чувиллинского, но Н. был абсолютно серьезен, страшно возбужден, глаза его горели. Он выкрикивал бессвязные фразы о каком-то откровении, встал на колени перед Чувиллинским, отбивал ему поклоны, благодарил Бога за свое предназначение, призывал военнослужащих покаяться и упоминал адское пламя. Все попытки успокоить Н., за которым никогда не водилось особенной религиозности, ни к чему не приводили: он отбивался с поразительной силой, тут же просил прощения у тех, кого ударил, метался по расположению и кричал, что Чувиллинский — новый Христос, посланный на землю как духовный индикатор. Чувиллинский испуганно жался к стене, а потом забился в Ленинскую комнату. Он весь трясся.

Сергея Н. отправили в город, в окружной военный госпиталь, где диагностировали у него

острый реактивный психоз на почве переутомления, недосыпа и психического перенапряжения. В часть выехала комиссия, но не нашла никаких нарушений.

В декабре того же года, за три месяца до приказа, Сергей Н. был комиссован и отправлен на долечивание в Москву. Сейчас он вполне нормален и почти ничего не помнит о происшедшем.

И ни в роте, ни в части, ни в госпитале ни одной живой душе не пришло в голову, что он, единственный человек, пожалевший последнего чмошника, — **ЧТО ИМЕННО ОН-ТО И БЫЛ ХРИСТОС.**

ОТПУСК

Валентин Трубников, хотя, конечно, никакой не Трубников, вдыхал знакомый вагонный запах, не изменившийся за три года, мельком взглядывал в темное окно, привыкая к своему облику, и ждал Веру Мальцеву, которая опаздывала. Это тоже ничуть не изменилось, прежде ей от него доставалось, о чем он в последние три года горько сожалел, — но теперь, правду сказать, Трубников радовался, что она задерживается. Его била дрожь, а когда толстого сорокапятилетнего человека бьет дрожь, это всегда смешно и неприлично. Воистину душа — хозяйка тела; материалисты, конечно, дураки. Тело ничего не может само. Этот Трубников, несмотря на годы, был здоровый, крепкий мужчина — вероятно, рыбак, автолюбитель, турист, и полнота его была не болезненная, а сочная и крепкая, от вкусной и здоровой пищи, от экологически чистых огурчиков с собственного огорода, не всякая эта нитратная гнусь. Вера Мальцева, вероятно, отшатнется при виде этого человека, он будет ей невыносим, и при всей своей хваленой воспитанности она не сможет скрыть раздражения. Противно ехать куда-нибудь с довольным, глухим ко всему человеком:

никогда так не чувствуешь одиночества, как рядом с храпящей, плотной тушей, никогда не осознаешь так ясно, до чего мы все никому не нужны с нашей неизбывной болью, — в такие минуты кажется, что и Бог тоже толстый и тоже спит. В России, как в поезде с противным попутчиком, совершенно не с кем поговорить. Так называемого Трубникова это очень угнетало в свое время: лежал он, положим, в больнице, дела его были плохи, а рядом выздоравливал примерно вот такой. Трубникову, в силу плачевного его положения, хотелось поговорить, ночами он мучался от боли и от неуклонно прибывающих подтверждений диагноза — в такие минуты один понимающий взгляд сделает больше, чем любая таблетка, — но сосед ничего понимать не хотел: он оберегал свое едва наметившееся выздоровление, опасался заразиться от тяжелого соседа, на все трубниковские истории отвечал: «Всяко бывает», а от прямых вопросов уходил, отворачиваясь и хмыкая. Так Трубников и не узнал про него ничего, но возненавидеть успел капитально.

Выписываясь, сосед тщательно собирал свои судки, забрал даже старые газеты — не желал ничего оставлять в обители скорби; так зэк, говорят, перед выходом на волю должен все забрать из камеры — чтобы не возвращаться, типа примета. Трудно, трудно будет Вере Мальцевой всю-то долгую зимнюю ночь ехать с таким попутчиком в Нижний Новгород в командировку, где у нее вдобавок сложное дело. Адвокат она молодой, двадцать семь лет, а проблема там ух непростая — Трубников это дело знал,

газеты читаем. Две девочки удавили больную соседку по ее личной просьбе, скажите, какое милосердие, — и ведь не подкопаешься, она нацарапала кое-как слабеющей птичьей лапой, изувеченной амиотрофным склерозом, положенное «никого не винить». Девочки, однако, после успешной эвтаназии обобрали квартиру удушенной, и это меняло дело; Мальцева в жизни не взялась бы защищать мерзавок (происходивших, кстати, из вполне состоятельных семей), кабы не временные денежные затруднения да собственный специфический опыт по этой части, о котором ниже.

Трубников охотно избавил бы Веру Мальцеву от своего соседства. Но что поделать — у него это была единственная возможность легально провести с ней ночь, он специально подгадал отпуск под этот визит — в командировки она ездила редко. Еще, не дай Бог, опоздает — и тогда потерян год и прахом пойдут все приготовления: выслеживание на вокзале, покупка билета в то же купе... Но она не опоздала — и, как ни ждал ее так называемый Трубников, а все равно Вера явилась неожиданно; так и на всех их первых свиданиях, когда он уже переставал надеяться, она вырывалась вдруг из толпы, словно ее нарочно задерживали, а тут она чудом вывернулась из цепких рук и мчит-ся ему навстречу от незримого преследователя, и на лице всегда страх.

— Ты чего?

— Я боялась, что ты уйдешь.

— В следующий раз точно уйду. Полчаса, Вер! Совесть иметь надо, нет?

— Ну прости. Вот видишь, ты бы ушел. И мы бы никогда уже не встретились.

— А телефоны отменили?

— Нет, я точно знаю. Если бы ты ушел, то всё.

— Ты меня испытываешь, что ли?

— Боже упаси. Пробки, честное слово. Вся Ленинградка стоит.

— Пешком надо ходить, — говорил он назидательно, и они шли куда-нибудь пешком, поминутно останавливаясь: она висла на нем, лезла целоваться, вглядывалась, словно торопилась насмотреться. Как выяснилось, имел место ненаучный факт предвидения.

Она ворвалась в купе, задыхаясь, и действительно слегка отшатнулась, наткнувшись на его взгляд. Трубников поспешно опустил глаза.

— Здравсьте, — сказала она.

— Добрый вечер.

— Ой, я еле успела.

— Да, — сказал Трубников, не поднимая глаз. — Пробки.

Правду сказать, он чувствовал себя отвратительно. В прошлый раз даже решил, что в отпуск больше не поедет, но легко сказать. Особенно его огорчили бледность и худоба Веры Мальцевой: в ее годы женщине, пусть даже одинокой, положено быть цветущей. Вероятно, он даже одобрил бы ее замужество — впрочем, это тоже легко сказать, в теории мы все альтруисты. Трудно ей было одной, трудно.

Поезд тронулся. Трубников сидел нахохлившись и украдкой вглядывал на попутчицу: особых изменений не наблюдалось. Он сам не

знал, что его так пленяло в ее лице, — слава Богу, почти никто из друзей не разделял этого восторга; приятно все-таки, что разным людям нравятся разные женщины, это как у растений цветение в разные сроки, которое он помнил из курса ботаники. Какое-то в ней было веселье, готовность к внезапному озорству — сейчас, конечно, поутихшая, загнанная внутрь. Раньше она вспыхивала от первой спички, от любой шутки, — вообще легко загоралась, страшно переплачивала людям, восхищалась посредственностями, о любом фильме, в котором померещилось что-то свое, рассказывала захлеб, приписывая авторам то, чего у них и в мыслях не было; бесценная для адвоката способность искренне верить в чужую святость! Первое громкое дело было у нее как раз с шахидкой-неудачницей, которая передумала взрываться, когда увидела в витрине розовую кофточку и захотела такую же; у нее, вишь ты, никогда не было розовой кофточки. Присяжных это не тронуло, закатали голубушку на всю десятку, не такое было время, чтоб жалеть чурок, да еще и начиненных динамитом; Вера бегала во все газеты, рассказывала, какая удивительная девочка, как рисует, какие пишет стихи! Стихи были впечатляющие, нет спору: «Хочу раскрыть свою темницу и отпустить себя, как птицу». И кофточку ей купила — осуществятся мечты!

— Ну, давайте знакомиться, — решительно сказала Мальцева, словно нырнула в холодную воду (в воду всегда вбегала с визгом — никаких этих долгих, осторожных вхождений, и с ним когда-то так же быстро сошлась, не думая

о последствиях). — Я Вера Мальцева, еду в командировку. Вы до Нижнего?

— До Нижнего, — буркнул Трубников. — К сестре.

— Вы оттуда сами? Я просто впервые там буду, не знаю ничего...

— Нет, это она туда уехала. Замуж вышла.

— А, — сказала Мальцева. — Ну и как, удачно?

— Что — удачно?

— Замуж удачно вышла?

Что-то с ней было не так. Непонятно было, с чего она задает противному толстому мужику посторонние вопросы. Или так оголодала, что на любого кидается?

— Удачно. У некоторых вообще бывает удачно... свободная вещь...

Ах ты черт, подумал Трубников. Этого говорить не следовало. Она сразу вскинулась.

— Как вы сказали?

— Я говорю, бывают удачные браки иногда.

— Нет, не то! Про свободную вещь!

— А что, выражение такое, — не очень искренне удивился Трубников. — Многие так говорят.

— Это да, это да... Свободная вещь... А я вот адвокат, представляете?

— Чего ж не представлять, — он пожал плечами. Она явно нервничала, отсюда и болтовня.

— У вас там в Нижнем слыхали, какая история? Две девочки женщину задушили.

— Читал что-то, — сказал Трубников. — Она их сама просила, по-моему.

Проводница забрала билеты и разнесла белье. Она была ласковая, доброжелательная, с дроб-

ным быстрым говорком — у Трубникова при уже упомянутых тяжелых обстоятельствах была такая медсестра, и цену ее доброте он знал отлично. Никого она на самом деле не жалела, а ласковый говорок у нее был вроде защитной реакции, чтобы не вымогали настоящего сочувствия. Проводница спросила, не надо ли чаю.

— Обязательно! Два стакана! — попросила Вера Мальцева.

— Не много будет? — поинтересовался этот, тоже мне, Трубников.

— А я в поезде очень люблю, — сказала она с вызовом. — В детстве, бывало, в Крым еду — с мамой, с папой, они развелись потом, — и счастье уже, знаете, начинается с чая. Сахар такой был, с поездом нарисованным. Мне очень нравилось слово «рафинад», я думала, это особенное что-то, поездное. Мы дома с песком пили.

— А куда в Крым? — спросил он.

— Ой, мы много куда ездили. В Судак, в Севастополь. У папы в Феодосии друзья были.

Трубников вспомнил Феодосию, таинственного папиного друга, к которому лет восемь не обращались, а тут Верка взяла его адрес и, предупредив телеграммой, не ожидая ответа, отправилась с молодым человеком в гости. Молодой человек говорил, что ничего хорошего не выйдет, но она только смеялась в ответ — девятнадцать лет, что вы хотите. Никакого друга на месте, естественно, не оказалось, он вообще переехал два года назад в Самару, как сообщили соседи, — эти же соседи указали и дом, где можно было за дикие деньги получить крайне убогую комнату; хозяйка все время плакала —

у нее за неделю до этого погиб муж, молодой человек усмотрел в этом дурное предзнаменование, а Верка не верила во всю эту ерунду. Почему-то в тот год было страшное количество абрикосов. Наверное, это тоже было предзнаменование. Маленькие, хрупкие парходики ходили по морю в Коктебель. Уезжали утром, возвращались вечером, в синих сумерках. Верка рассказывала страшное — импровизировала вообще с необыкновенной легкостью. Ночи были жаркие, она лежала, откинув простыню, а он смотрел на это счастливое бесстыдство: лежит, как Вирсавия, рубенсовская женщина, а на что смотреть-то, кожа и кости, птичьи ребрышки, подростковые тонкие ноги... Но что-то было, что-то необъяснимое, никогда и ни к кому так не тянуло.

Трубников сидел и думал: надо выйти, ведь она хочет лечь. Но он не представлял себе, как войдет и что будет делать, когда она переоденется. Все, что она говорила, он пропускал мимо ушей.

— Вы не слушаете?

— А? Нет, я слушаю.

— Нет, вы не слушаете. У вас болит что-то, да?

— Ничего не болит.

— Но вам не до меня, по-моему.

— Нет, Вера, говорите. Что вы. Очень интересно.

— Я говорю: а как они там отнесутся, в городе? Как вы думаете?

— Ну, откуда же я знаю. Я сам там не живу, только сестра. Но я думаю, город будет против, конечно.

— Почему?

— Видите ли... во-первых, мотив сострадания там исключен. — Он заговорил с привычной лекторской интонацией и сам себя одернул: не сочетается с нашей внешностью и покладкой рыбака, толстяка, туриста, станového хребта страны. — Они же обчистили квартиру, так? Потом, даже доктора этого, Караян или как его там...

— Кеворкян. Доктор Смерть.

— Ну да, Кеворкян... его же тоже приговорили, в Европе, в разгар политкорректности. Насколько я слышал, только в Голландии эвтаназия разрешена... и в Израиле, что ли...

— В Швейцарии, — сказала она. — В Англии...

— Ну, может быть. Я не занимался.

— А чем вы вообще занимаетесь?

— Я врач, — сказал он.

— Видите, как замечательно. — Она сидела, положив ногу на ногу, упершись подбородком в ладонь, — поза несколько искусственного, детского, умиленного внимания. — Но сами-то вы как относитесь?

— К чему?

— К эвтаназии.

— Резко отрицательно, — сказал Трубников. — Резко.

— Почему, можете сказать?

— Я думаю, — выговорил он не очень уверенно и на всякий случай опустил глаза, — я думаю, всё лучше, чем смерть.

— Ну, об этом вы, мне кажется, представления иметь не можете.

— А вы можете?

— Я могу, — сказала она твердо. — Бывают вещи значительно хуже смерти. Значительно.

— Это всё гуманитарные придамбасы, — отмахнулся Трубников. — Тыр-пыр, восемь дыр. А я рассуждаю как врач — и для меня живой пациент всегда лучше мертвого. Даже если я ничего не мог сделать — все равно.

— Как вы сказали? — снова насторожилась она.

— Я говорю, если даже я ничего не мог сделать...

— Да нет! — она отмахнулась. — Вот сейчас, только что, про тыр-пыр...

Черт возьми, подумал Трубников, до чего приставучи все эти идиомы, словечки-паразиты, по которым нас можно будет узнать и после конца времен! Собственно, моя речь из них и состоит. Частицы и междометия. А что еще может сказать человек, имея мой опыт? Нет человеческих слов для такого опыта, при встречах только по глазам друг друга и узнаём... Иногда в городе встречаю наших — сразу раскусываю; подошел бы, поздоровался, но этикет, сами понимаете, этикет... Может сойти, а могут лишить отпуска, и хорош я буду.

— Про тыр-пыр, — терпеливо пояснил он, — это такая пословица. Основана на том, что у человека восемь дыр. Ну, не у всякого, у женского человека...

— Вы что, и уши считаете? — в ужасе спросила она.

— Это не я, это народ. А вы что же, за эвтаназию?

— Да, — сказала она решительно. — То есть я могу понять человека, который этого требует. И больше вам скажу — лично для себя я хотела бы эвтаназии.

— Но вы ничем не больны, — сразу насторожившись, сказал так называемый Трубников.

— Нет, я имею в виду — на случай чего-нибудь неизлечимого, — сказала она. — И потом, честно вам скажу, если бы меня сейчас кто-нибудь убил... черт знает, зачем я к вам со всем этим... ну, я не обрадовалась бы, конечно, но и сопротивляться бы особо не стала.

— Это у вас профессия такая, — мягко сказал Трубников. — Слишком много видите жестокости, ну и... Адвокат вообще, мне кажется, не женская работа. Всё лучше смерти, Вера. Честное слово.

Они еще поговорили минут сорок — странно, она не спешила переодеваться и укладываться, хотя он несколько раз порывался выйти из купе.

— Подождите, останьтесь.

— Но мы уже через шесть часов приедем...

— Ничего, я мало сплю. А вот скажите, пожалуйста...

— Что?

— Нет, ничего. Так вырвалось. Я у вас хочу ужасную глупость спросить.

— Спрашивайте, — пожал плечами так называемый Трубников, а сам насторожился.

— Нет, не буду. Ерунда, нервы надо лечить. Правильно я говорю? Надо мне лечить нервы?

— По первому знакомству не скажешь, — сказал Трубников и прокололся уже непопра-

вимо: — все люди хорошие, когда спят зубами к стенке...

Она даже вскочила.

— Как вы сказали?

— Это выражение, — опустил он глаза. — Что вы, простых вещей не знаете?

— Ничего я не знаю, — сказала она, — ничего... Ну ладно, выйдите, я переоденусь.

Ночью, само собой, он не спал: стоило ехать в отпуск, чтобы спать! Как говорится, там отоспимся... И она тоже ворочалась, садилась на полке, долго, с мучительным любопытством смотрела на него — он физически чувствовал ее взгляд, всегда ощущал его, мог с закрытыми глазами сказать, в какой позе она сидит рядом. Никогда, ни с кем не бывало такой полноты понимания, а без нее все словно выключалось. Однажды, в самом начале, он на что-то обиделся и неделю с ней не разговаривал, запретил себе звонить, отвечать на звонки, думать... Все так о ней напоминало, что вычеркивать вместе с ней пришлось половину знаний, умений и привычек — это после полугода знакомства! Каково же ей теперь было без него, в каком узком мире она, должно быть, очутилась — ведь, запретив себе воспоминания, чтобы уж вовсе не рехнуться от боли, она обречена была лишиться всего прошлого, кроме школьного, всех мыслей, кроме простейших... Господи, спасибо за это жалкое послабление, за отпуска, да и то не навсегда, а пока кто-то тут помнит, — но это ведь, если вдуматься, дополнительная пытка. Нет, нет, с этой безжалостной волей

я никогда не смирюсь — даже теперь, когда отлично знаю, что мы преувеличиваем Господне всемогущество, что многое зависит не только от него, что есть вещи — неизлечимые болезни, например, — которые посылаются совсем другими силами, и нет кого-то одного, кто отвечал бы за все. Иначе, конечно, этому одному нельзя было бы простить ни тех последних недель, когда он действительно мечтал об экстази, ни тех первых дней, когда она осталась одна, а он продолжал все понимать и видеть.

Он лежал в темноте, закрыв глаза, никак не умея освоиться в неловком, тучном теле, внезапно захваченном в Москве на сутки, — и чувствовал, как худая светло-русая женщина рядом все крепче закусывает губу; такую вещь в темноте не разглядишь, но чувство, чувство куда денешь? Оно и в теле нелепого Трубникова не оставляло его. Дурацкая какая фамилия — Трубников. Впрочем, и Мальцев — тоже так себе.

— Если вы что-то знаете и молчите, — сказала она вдруг еле слышным шепотом, — это такая вещь, которая хуже убийства. Понимаете? Я сразу, как вошла, поняла, что вы что-то знаете. И эти словечки, и вообще. Ничего общего, конечно, но ведь не обманешь. Я почти уверена. Вы наверняка, наверняка знаете. Я вас очень прошу. Я вас у-мо-ля-ю. — Он отлично знал эту детскую манеру скандировать по слогам. — Я никому не скажу. Но бывает же, да? Если вам нельзя, то вы можете хотя бы намек какой-то... хотя бы привет, да?

Привет он однажды передавал, было дело. Был отпуск у Серегина, несчастного, сутулого

мужика, которого помнил сын. Сыну не было до Серегина никакого дела, он помнил его, так сказать, пассивно, безэмоционально. И так называемый Трубников тогда сказал: чего тебе парня смущать, ты лучше зайди, пожалуйста, на улицу Юннатов, дом такой-то, отнеси букет. Положи у двери в квартиру тридцать два. Серегин отнес, но любопытство пересилило — он позвонил в дверь, стал говорить какие-то глупости, что-то про благодарного анонимного клиента... Очень хотел посмотреть, из-за кого так называемый Трубников так убивается. Посмотрел — ничего особенного, ни кожи, ни рожи; а Верку потом три дня успокаивали, редела безостановочно...

— Вера, — спокойно сказал Трубников, — чего вы не спите, а?

Он физически ощутил волну невыносимой тоски, наплывающей с соседней полки. Он только что зубами не скрипел. Сказать было нельзя ничего, ни слова — мало того, что отпуска бы лишили, вообще сделали бы такое, по сравнению с чем и последние его тутошные недели показались бы раем. Там есть такие изощренные способы, которые здесь и в голову не придут.

— Да, простите, — быстро сказала Вера. — Да уже и приехали почти.

— Чего-то я бормотала ночью во сне, да? — спросила она холодным, розовым, снежным новгородским утром, когда поезд подкатывал к вокзалу.

— Не помню, — сказал так называемый Трубников. — Я, знаете, сам иногда во сне... Даже до крика доходит, если кошмар.

— Нет, мне кошмары не снятся. Мне сплошная радость снится. А проснешься — и тогда кошмар.

— Ничего, Вера, — сказал Трубников. — Всё лучше смерти, помните об этом, ладно?

— Удачи, — сказала она.

Трубников некоторое время смотрел ей вслед. Надо было, однако, торопиться. Он быстро пошел в зал ожидания и уселся на скамейку. «Шике-шике-швайне», — пела Глюкоза. Шике-шике швайне сидели вокруг, позевывали, читали газеты. В эту секунду так называемый Трубников любил их невыносимо, потому что пребывать среди них ему оставалось не более минуты, а расставание предстояло не менее чем на год. Он закрыл глаза и с искренним сожалением покинул неприятное тело Трубникова.

Валентин Трубников, придя в себя, долго еще сидел на скамье в зале ожидания, пытаясь понять, как это его, приличного человека, начальника планового отдела, отца двоих детей, занесло в Нижний Новгород холодным январским утром. Бывают такие удивительные провалы в памяти, вроде и не пил ничего. Он не очень хорошо помнил, что с ним было в последние сутки, с тех самых пор, как чужая убедительная воля порекомендовала ему ненадолго заткнуться и принялась бесцеремонно распоряжаться его телом, паспортом и бумажником. Кстати, бумажник. Он заглянул туда и обнаружил обратный билет на дневной поезд. Быстро позвонить жене. Странные, необъяснимые случаи, наверняка отравление или цыганка. А иногда, читал он, вообще находят со стертой

памятью, одинокого, потерянного, тоже где-нибудь на вокзале: как он попал в какой-нибудь Комсомольск-на-Амуре, совершенно не помнит. Определенно повезло.

Конечно, повезло, думал Мальцев, удаляясь от Трубникова. Это, знаешь, как в анекдоте про поручика Ржевского — «Некоторые так на берегу и оставляют». А тебе, дураку, попался еще вполне цивилизованный отпускник.

ОБХОДЧИК

Александру Житинскому

Старцев отряхнулся, оббил снег с валенок, снял тулуп и поставил чайник. За окном темно. Плотно было в порядке, посторонних он не заметил, да и неоткуда было взяться посторонним. Все эти разговоры про диверсантов гроша ломаного не стоили. Поезда сегодня не было, и до конца недели он его тоже не ждал. Зачем поезд? Про вечно бодрствующую армию на границах Старцеву тоже было все понятно. Никому ничего не надо, любой мог прийти и взять, если б нашел, что брать. А если и была какая-то армия — тоже небось состояла из одного дежурного по КПП. Прочие спали в дормиториях, замаскированных под казармы.

Спячка продолжалась вторую неделю — полная, глубокая, трехмесячная, третья по счету. Спали горожане, крестьяне, бомжи, металась во сне интеллигенция, храпели попы, отслужив напутственное молебствие на сон грядущий: «Даждь мне, Господи, в нощи и зиме сей сон перейти в мире, да восстав в апреле от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему и поперу борющие мя враги плотския и безплотныя». Спала власть в подземном дортуаре, истинного местонахождения которого не знал

никто (хоть и поговаривали, что самая-самая элита инкогнито оттягивается на лыжных курортах — Старцев знал, чувствовал, что никуда они не делись, что никакой курорт не заменит им сна, благодетельного, уютного, снимающего все вопросы). Куда бы они сбежали, на кого оставили страну? Про мистическую связь народа и власти — все правда. Оставишь народ в дормиториях, улетишь в Альпы — и заснешь посреди трассы, отскребай тебя потом. Да и мало ли что тут делается, пока ты бодрствуешь. Нет, спать, так уж всем. И сонная эта эманация была до того заразительна, что один чех, встретившийся ему летом, так и признался: около ваших границ, говорят, народ зевает и спит на ходу. Кофе глушить приходится литрами. Может, это у вас сонные генераторы включены? Да нет, пожал плечами Старцев, какие генераторы. У нас это давно, мы это умеем, это с самого начала было в нашей природе, которой мы теперь наконец перестали противиться.

Спячка выходила выгодной со всех сторон. Производство давно было чисто символическим — так только, чтобы занять руки населения, не участвующего в добыче и экспорте сырья. Жизнь, доказали ученые во главе с министром здравоохранения, заметно удлинялась. Мозг отдыхал. В конце концов Россия — страна рискованного земледелия, нас нельзя судить по американским критериям, у нас в иную погоду на улицу выйти — подвиг, а каждый день ходить на работу, наворачивая на себя по три килограмма меха, пуха, кожи, смазывая щеки кремом, а губы специальной помадой, — доб-

лесть, сравнимая с зимовкой в Антарктике. Самое интересное, что Старцев ничуть не завидовал спящим. Он не считал свою работу подвигом, ибо выбрал ее по темпераменту, по любви, а не по наводке профтехобразования.

Иногда он спал, разумеется, — не более шести-семи часов, через два дня на третий. Дело было не в бессоннице, возведенной теперь в ранг бунта, — а в блаженстве, которое он испытывал, бодрствуя посреди спящей страны. Он никогда в жизни не испытывал такой радости — не спать посреди огромного спящего пространства, чувствуя себя не просто его тайным хранителем, но, если угодно, гарантом существования. Вот этот, который спит сейчас где-нибудь за красной зубчатой стеной или, как Сталин во время войны, в самарском бункере, — какой он гарант? В чем его работа? А путевой обходчик Старцев каждый день и каждую ночь обходит свой участок дороги. В этом нет никакого смысла, потому что поезд ходит все реже, а к январю, как в прошлом году, перестанет ходить совсем. И так ведь ясно, что армия не нуждается в подвозе продуктов, потому что во сне не ест. Ну, может, кто-то и ест — двое или трое упомянутых дежурных, — но не целый же поезд они сжирают. Так что все эти экспрессы к границам — чистый пиаровский ход, имитация дежурства, ночной зимней жизни... хотя — для кого имитировать? Кто сунется в это подмороженное болото? Старцев любил родину — именно за возможность быть зимним путевым обходчиком, который не спит, когда все спят, — но отлично понимал, что она

никому особенно не нужна. Разве что самому Старцеву, и то потому, что здесь он мог чувствовать себя хранителем целой страны, а больше нигде.

Телевизор давно показывал сетку под советские военные марши, радио передавало лирические песни из советских же кинофильмов, а Интернета у него в будке не было. Он в нем и не нуждался. Тут были самые необходимые, надежные и прочные вещи: топчан с двумя одеялами, плитка, чайник, стол, стул, шахматы, библиотека из пятидесяти книг, которые он отбирал за лето и осень, несколько видеокассет, телевизор, совершенно бесполезный, но почему-то создающий уют, и черный эбонитовый телефон для связи с миром. Телефон иногда звонил, но всякий раз, как Старцев брал трубку, до него доносились только попискивания и потрескивания. Он думал сначала, что это его проверяет госбезопасность, уж она-то не спала, — но какой смысл госбезопасности проверять путевого обходчика? Некого больше, что ли?

Спячка была, если вдуматься, совсем неплохим изобретением. Единственная трудность — с воспроизводством населения: залетать можно было только в марте, чтобы родить в первых числах декабря и погрузиться вместе со всей страной в благодетельный сон. Правда, теперь и рожали мало — не то что во дни процветания; но сырье еще кое-чего стоило, а потому страна продолжала размножаться, хоть и без особенного смысла. Кого плодить-то — сонь? Большая часть населения теперь работала на эти три месяца сна: в ток-шоу обсуждали сны, в НИИ

выдумывали безвредные снотворные... Тем не менее умудрялись как-то рожать, тут же отдавая младенцев в младенческие спальни. Дома всю зиму стояли пустые, в них не топили, экономя на солярке: отапливались только дортуары, похожие на многоэтажные парковки. В дортуарах спала вся семья Старцева — мать, отец, жена, двое детей. Старцеву было странно, что когда-то он считал этих людей своей семьей. Первая же зимовка отделила его от них бесповоротно. У тех, кто впадает в спячку, не может быть ничего общего с тем, кто по собственному почину от нее воздерживается. Экстремисты, говорят, тоже все поуходили из семей.

Экстремисты не желали спать и всячески срывали процесс, но их отлавливали и усыпляли принудительно. Напрасно они устраивали марши протеста, апеллировали к Западу, давно на нас плюнувшему, и доказывали, что спячка отнимает у россиян четверть жизни. Население осуждало их единодушно и охотно. Население хотело спать. Пожалуй, только экстремистов и стоило бояться — Лимонов в свои восемьдесят никак не желал угомониться, и последователей у него хватало, но на подрыв поезда пока никто не решался. Иногда Старцеву казалось, что экстремистов выдумали, наняли за деньги — просто чтобы остальным спалось спокойней. Всегда лучше спится, когда рядом кто-то бодрствует. Он еще в армии заметил: высшее счастье — проснуться среди ночи, услышать, как, ругаясь, встают шоферы на ночной выезд, и радостно провалиться обратно в сон: можно, Господи, не вставать! Это и есть истинный уют.

Раз за день и раз за ночь он по часу обходил свой участок, повторяя про себя: где черный ветер, как налетчик, поет на языке блатном — проходит путевой обходчик, во всей степи один с огнем... Есть в рельсах железнодорожных пророческий и смутный зов благословенных, невозможных, не спящих ночью городов. И осторожно, как художник, следит проезжий за огнем, куда железнодорожник не пропадет в краю степном.

Это были очень старые стихи. Тогда еще были не спящие ночью города. Скоро рельсы совсем заметет снегом, и Старцеву нечего будет обходить — он уже знал это по опыту двух предыдущих зимовок. Ничего, все равно будет протаптывать дорожку и проходить хотя бы километр. Полезно. В сущности, он не испытывал к спящим никакой враждебности. Легкое высокомерие, не более. В конце концов, человек — обычное высшее животное, и впадать в спячку для него естественно. Он так увлекся самокопанием — нет ли в нем, на самом деле, презрения к человечеству и если есть, то как бы его побыстрее выкорчевать, — что не сразу расслышал стук в дверь, а потом в окно. Ему показалось, что ему показалось. В следующую секунду он бросился к двери и широко распахнул ее.

На пороге стояла очень замерзшая девушка лет семнадцати.

Старцев так обалдел, что в первую секунду не задал никаких вопросов — просто схватил ее за вялую, безвольно висевшую руку в серой вязаной варежке и втащил в теплую дежурку.

Удивительно, как у нее хватило сил постучаться. Лицо у нее было бледно-синее, губы белые, выражение безнадежное. Старцев усадил ее ближе к обогревателю и принялся раздевать, растирать, тормошить — нельзя было отпустить ее в беспамятство, сейчас она должна была любой ценой двигаться, разгонять кровь, говорить, соображать. Самое страшное начинается, когда достигнешь цели и решишь, что всё позади. Тут-то от тебя и требуется все мужество, вся сила. Он бормотал ей это, но она вяло кивала и клонила на лавку, и Старцеву пришлось сильно надавать ей по щекам, чтобы во взгляде ее появилось подобие осмысленности.

— Ты откуда? — спрашивал он. — Как ты тут вообще? С ума сошла, все спят, а она ходит...

— Я из Москвы, — сказала она.

— Это что ж, ты пятьдесят километров пешком шла?! — не поверил Старцев. Начало декабря было холодное, страшное, он замерзал на десятой минуте обхода и принимался подпрыгивать, пробегать метров по сто, тереть нос и уши — как она дошла в своей тонкой дубленке?

— Я хотела на поезд, — сказала она.

— Сейчас, сейчас, — суетился Старцев, наливая ей кирпичного чаю и доливая в тонкий железнодорожный стакан пятьдесят граммов из заветного запаса. — Вот, пей, да не обожгись.

Она отхлебнула, поморщилась и чуть не уронила стакан.

— Как тебя звать-то?

— Женя, — почти беззвучно сказала она.

— И чего ты делаешь ночью на дороге?

— Поезд, — повторила Женя. — Я думала, что поезд.

— И куда б ты на нем уехала?

— Не знаю. Но ходит же куда-нибудь.

— А чего ты не спишь-то?!

— А вы кто? — спросила она наконец.

— Я обходчик здешний. Путевой обходчик, знаешь про таких?

— Не знаю, — сказала она.

Она была красивая, он только сейчас заметил это, красивая, хотя и простоватая: такие если что решат, не отговоришь. У нее было совершенно детское круглое лицо, круглые глаза, нос кнопкой. Такого ребенка нельзя было выпускать из дому зимой, но кого же они спрашивают? Уходят, куда глаза глядят, и не удержишь. Такие влюбляются на всю жизнь и никогда не прощают измен, им ничего нельзя объяснить. Лицо круглое, а сама худая. Слава Богу, ничего не отморозила, — Старцев растер ей ноги, уложил под ватное одеяло, силком влил стакан чая с ромом и уселся рядом. Около часа она пролежала молча, но не спала, а всем телом впитывала тепло. Из нее словно вынули позвоночник — вся сила ушла разом, она и пальцем не могла пошевелить. Только через час стала монотонно рассказывать, глядя мимо него, — Старцев молча слушал, дивясь ее наивности и тому, что одинокая будка со светящимся окном так издали случилась у нее на пути.

Она была влюблена в экстремиста, уже второй год, влюбилась сразу после школы. Он был ее однокурсник. Учебный год начинался теперь первого апреля и заканчивался первого декабря.

Однокурсник был красивый, загадочный, грязный, неухоженный. На третий день знакомства он признался ей, что не спит. Они все в организации не спят, потому что не считают возможным отнимать у себя по три месяца. Организация ей тоже понравилась: романтично, и так странно, что их все ищут, а они так запросто растворены в городе: учатся в институтах, кадрят девушек. Она сама не заметила, как стала везде ходить с ним, говорить только с ним, а потом и спать с ним. Матери с отцом он активно не нравился, и это тоже было романтично.

— Он все рассказывал, как они не спят. Все автобусами разъезжаются по дортуарам, марши там, митинги... проводы... Хрюша и Степашка всех благословляют, из «Спокойной ночи, малыши»... Потом прием снотворного, коллективный. Всем из ложечки, как причастие. А они сбегают. Просачиваются как-то. Там же, знаете, и не досматривают как следует. Ясно же, что все равно тут зимой делать нечего. Все спят. Магазины закрыты. Жрать нечего, в телевизоре один канал армейский. С ума сойдешь за три месяца. Дортуары все равно заперты, буди не буди. Ну разбудишь ты одного, двух, а толку? Они все равно все как под кайфом, разговаривать нельзя... Но Олег — он так рассказывал! Он говорил, что когда все спят — тут самое начинается интересное. Ночная жизнь. Что они на квадрациклах каких-то гоняют. Что по пустому городу устраивают автогонки. Что никакой милиции — делай что хочешь. И хотя квартиры заперты, но можно иногда залезть. Не то чтобы воровать — они же идейные, не воруют —

а просто вот так залезть в чужую жизнь. Очень интересно. Он мне рассказывал, как однажды ночью залез в антикварный магазин и три дня там прожил среди старых вещей.

Старцев ни за что не хотел бы остаться на ночь в пустой Москве. Электричество в домах отключено, энергия экономится, полусвет и тепло только в дортуарах, да и тепло такое, какого достаточно медведю для спячки: что-нибудь около нуля. Пустые серые улицы, короткие дни, долгие морозные ночи. Даже в Новый год никого не будят — его празднуют заблаговременно, накануне спячки, перед тем как погрузиться в трехмесячную нирвану. Поговаривают, что рано или поздно научатся транслировать фильмы непосредственно во сне, с помощью специальных электродов, прикрепляемых ко лбу, — но пока не получается. Все лежат и смотрят собственное скучное кино про скучную жизнь, а жизнь наполнена девятимесячной подготовкой к главному празднику. Счастье наступает в дортуаре, после ложки снотворного, в уютном спальном мешке, в сознании полной безопасности, в детском, даже и не детском, а пренатальном, родовом уюте. Спать, пуская слюни; спать, ни за что не отвечая, ничего не делая, ни о чем не помня; спать, как спят в ночном поезде, промахивающем снежные пустынные равнины, — все равно от тебя ничего не зависит, ты не можешь изменить маршрута, железная дорога потому и называется железной; спи, во сне ты не сделаешь зла, не обидишь, не предашь; спи, во сне ты привыкаешь к смерти и видишь — ничего страшного. Когда тебя

вычли из мира, он не рухнул, не перевернулся. После смерти мы, наверное, тоже проснемся, осмотримся, поймем, что без нас ничего не изменилось, — и снова провалимся в сон, уже окончательно. Это и будет Страшный Суд.

— Ну вот, — продолжала Женя, повернувшись на левый бок и подложив кулак под щеку. — В первую спячку — она вообще была вторая, но у нас первая — я отказалась с ним остаться. Я пошла и заснула с родителями. А он меня после спячки встретил и еще месяц презирал. Демонстративно с Катькой ходил. Но потом помирились как-то, в парке Горького. Я ему все сны рассказала, а он говорит — дурацкие у тебя сны. Мы, говорит, пока ты дрыхла, устроили тут ролевою игру в блокаду, в вымерший город. Фотки показывал. Я потом только узнала, что он их из Сети скачал и что ничего не было.

— А что было? Что они делали?

— Ничего не делали, — сказала Женя. Старцев подумал, что сейчас она заплачет, но она сдержалась. Если бы она и плакала, то уж никак не от тоски по своему неухоженному красавцу, а исключительно от стыда. Потому что она поверила, как последняя дура, а верить было нельзя ни в коем случае. Она убежала из дома за день до спячки, испортила родителям Новый год, тайно встретила в лесу с этим своим Павлом и всей его командой и готовилась к долгой зимовке, запасала, идиотка, консервы... а они, как только отгремели митинги и окончательно успокоилась во сне Москва, побежали в какое-то выселенное здание, где

у них, представляете, был устроен собственный дортуар, с автономным отоплением... и полезли в спальные мешки... и наглотались снотворного... и стали спать, как суслики! Пашка, сволочь, первый же захрапел!

Она действительно едва не разревелась, вспомнив, как стояла одна посреди заброшенной пустой школы, которую облюбовала оппозиция для дортуара, как смотрела на их вождя, с довольным похрюкиванием забиравшегося в красный атласный мешок, как все они натягивали толстые вязаные шапочки, как закрывали на молнию мешки, оставляя снаружи только поросычьи розовые носы, — и как Паша уже сквозь сон ей пробормотал: «Ну что ты как дура! Полезай ко мне! Как ты не понимаешь, нам совсем не обязательно НЕ СПАТЬ. Нам важно СПАТЬ НЕ С НИМИ. Это и есть настоящая оппози... опезо... Кххр...»

— А ведь это он дело сказал, — удивился Старцев. — Действительно умный парень, Паша-то.

Женя посмотрела на него с недоумением.

— Но они же все ввали, понимаете? Нету никаких экстремистов!

— Почему, есть, — усмехнулся Старцев. — Целых двое. Мы с тобой.

— В смысле?

— В смысле мы не спим. А все спят. Какого тебе еще экстремизма?

Только тут она испугалась его.

— А вы почему не спите?

— Да не маньяк я, — сказал Старцев. — Не бойся. Я дежурный по этому участку, путевой

обходчик. Слежу за железной дорогой, чтобы поезд ходил.

— А он ходит?

— В последнее время не ходит, — признался Старцев.

— Тогда зачем же вы...

— Ну, не знаю. Просто так. Считаю, что я оппозиция.

Некоторое время они молчали.

— А что, — снова усмехнулся Старцев. — Я вообще-то догадывался. Больно рожи у них были заспанные в апреле.

Женя кивнула.

— Я тоже заметила. Паша опух даже. Говорил, что от холода.

— И что ты делала? — спросил Старцев. — Когда заснули все?

— Да ничего. Пришла в город. Пошла к себе домой. У меня ключ был. Мать мне записку оставила, что я сволочь и все такое. Догадалась. Первое время у меня все было — консервы, печенье. Я отложила в диван и на антресоли еще. А потом чувствую — скоро еда кончится. Магазинов нет. Милиции нет, дрыхнет вся. Где-то очень глубоко дрыхнет, чтобы во сне не поубивали. Ну вот, они спят, а мне что делать? Я вспомнила, что поезд должен отходить на границу, со снабжением. Пошла на Ленинградский, а там никого. И на Ярославском никого. Я на Белорусский, там меня чуть не арестовали. Убежала. Думаю, значит, по рельсам пойду и в дороге перехвачу. Иду, иду, а поезда нет. Замерзла совсем, а назад страшно. Потом вижу — у вас свет, вас издали видно. Километра

за три. Еле дошла. Думала, что арестуют, а потом думаю: ну, не убьют же! Лучше арестуют, чем так... в полях, на рельсах...

— Ну, а если б поезд пошел? — спросил Старцев. — Что б ты делала?

— Махала бы, — с недоумением, словно удивляясь собственной наивности, сказала Женя. — Он бы остановился... наверное. Подобрал бы.

— Хрена он тебя подобрал бы.

— Да нет, не может быть. Неужели замерзать бы бросил?

— Ну, может, и подобрал, — буркнул Старцев, не желая подтачивать ее веру в человечество. — Привез бы тебя в часть. А там один дежурный пограничник. Что делать будешь?

— Ну, тушенка-то у них есть какая-нибудь? — спросила Женя. — Нашли бы для меня хоть буханку, нет? И потом, все-таки люди...

— С людьми-то страшней иногда, — сказал Старцев.

— Нет, — убежденно возразила она. — Страшней, чем в Москве без людей, нигде не будет. Там же совсем никого, понимаете? Вообще. Ледяная пустыня. А он говорил — гонки...

Она все-таки разревелась.

— Да не реви ты, — сердито сказал Старцев. — Что такого? Подумаешь, весна скоро. Через два месяца с небольшим, всего-то. Проснутся все. А ты им будешь рассказывать, какие тут гонки.

Эта мысль ее позабавила.

— А мы тут пока с тобой дежурить будем, — воодушевился Старцев. — По очереди плотно

обходить. Чаю у меня хватит, ем я мало. Книжки есть. Будем сочинять, чего тут было, пока все спали. Когда тепло, то не страшно. Печку будем топить. Знаешь, как интересно обходить пути? Идешь совсем один, небо бархатное, звезды. Вокруг ни человечка, ни огонька, ни дымка отдаленного. Фонарь у тебя. У меня большой фонарь, красный с белым. Над половою отчужденья фонарь качается в руке, как два крыла из сновиденья в середине ночи на реке... И в желтом колыбельном свете, у мирозданья на краю, я по единственной примете родную землю узнаю... И осторожно, как художник, следит проезжий за огнем, покуда железнодорожник не пропадет в краю степном.

— Это что? — спросила она.

— Это старые стихи, неважно чьи.

Он только теперь понял, как ему не хватало второй живой души. Хорошо не спать ночью, а одному все-таки страшно. Лучше, когда не спишь вместе с кем-то. Какое счастье — спать вдвоем, вспомнилось ему. Да, спать вдвоем, но не спать вдвоем — куда большее счастье! Теперь он не один, и, чем черт не шутит, может быть, не один уже навсегда — нашлась наконец такая, которая тоже не спит зимой. Сама пришла из ночного холода, из пустой Москвы, взялась ниоткуда... Старцев налил себе стакан чая и стал медленно, блаженствуя, пить.

— А вас как зовут?

— Олег.

— А вы как думаете, Олег, — спросила она смущенно, — он меня простит?

— Кто? — не понял Старцев.

— Ну... Пашка. Что я не легла с ним.

Старцев помолчал.

— Ему-то с чего тебя прощать? — спросил он брезгливо. — За что? Это тебе прощать его надо — за то, что одну бросил...

— Но он же не мог иначе, — убежденно сказала она. — Он клятву давал, кровью подписывался. Он со всеми. Я сама виновата, если не захотела. А так получается, что я его предала.

Старцев не ответил. Потом до его слуха снова донеслось жалобное хныканье из-под одеяла.

— Да простит, простит он! — сказал обходчик. — Куда денется...

— Мало ли что ему там присни-и-ится, — простонало из-под одеяла.

— Да не приснится ему ничего особенного. Чтобы снилось, надо, чтобы в голове что-то было. А что у него в голове?

— Вы не знаете! — возмущенно прохлюпала она.

— Все я знаю, — сказал обходчик. — Спи.

— А вы не будете?

— Я не буду, мне пока нельзя.

Некоторое время он посидел за столом, прислушиваясь к ее ровному сопенью, потом взял фонарь и вышел пройтись. Все правильно, думал он. Если ты кому-то нужен — ты уже не путевой обходчик, а так, дилетант. Было безветренно, тихо, совершенно пусто. Крупные звезды смотрели на обледеневшую насыпь, да летел между ними спутник, посылая в никуда никому не нужный сигнал.

АНГАРСКАЯ ИСТОРИЯ

Для таких женщин существует отвратительное слово «ладная», но как скажешь иначе? «Крепкая» применительно к женщине — еще хуже. Латышев любовался: невысокая, сильная, явно выносливая, наверняка отличная лыжница, маленькие смуглые кисти, никакого, естественно, маникюра, очень темные волосы и брови, широкий чистый лоб, твердый подбородок, глаза чуть раскосые, вообще явная примесь азиатчины — то ли бурятской, то ли китайской, но в Сибири это дело обычное. Держится прямо, улыбается открыто, говорит мало. Он с самого начала чувствовал себя с ней так естественно, словно знал еще в институте, потом надолго потерял и вот встретил. Правда, она была помладше лет на пять. Ее звали Татьяной. Они ехали из Новосибирска в Нефтеангарск — назовем так этот бурно развивающийся город, центр богатого региона, успевший за время нефтяного благоденствия обзавестись спартакиадой и кинофестивалем. Спартакиада проводилась уже во второй раз, кинофестиваль — в третий, Делон приезжал и еле унес ноги от сырьевого гостеприимства, на горнолыжном курорте в десяти километрах от го-

рода прошла недавно российско-германская встреча на высшем уровне, и уровень был да, высший — немцы не шутя поразились размаху. Латышев ехал по делам службы. Зачем ехала Татьяна, он не расспрашивал. Ей, кажется, нравилось, что он не проявлял любопытства.

Он знал этот женский тип — сибирячек, сильных и чистых, иногда переезжающих в Москву, но долго там не выдерживающих. Интеллигенция в первом, редко во втором поколении. В институте берутся за науку с первобытной страстью, с какой вгрызалась в нее когда-то будущая красная профессура. Умеют всё, не брезгают никакой работой, знают сотни хозяйственных секретов, заблудятся в тайге — выживут, заболеешь — выходят, но сникают от косога взгляда, злого слова, совершенно не способны интриговать, в недоброжелательной среде быстро вянут и вообще отличаются совершенно детской чистотой: черт его знает, как с такими жить. Латышев бы ее, конечно, уболтал — нет проблем; он несколько раз уже ловил на себе ее хитрый, скрытно-одобрительный, чуть не подзуживающий взгляд — ну, что ж ты?! — но вел себя скромно: Сибирь есть Сибирь, московская распушенность тут не прохонже. День-ночь, сутки прочь, поговорить успели обо всем, кроме личной жизни, которую оба старательно обходили; в этой солидарности Латышеву виделся ободряющий намек. Наконец, когда до Нефтеангарска оставалось три часа езды, он понял, кого она ему напоминает. Таня сидела напротив в синем спортивном костюме, подобрала ноги, — такие девушки везде умудряются расположиться

уютно — и смотрела на него с поощрительным, ласковым любопытством; большое искусство, между прочим.

— Я тут понял, на кого ты похожа, — сказал Латышев (они поразительно легко перешли на «ты» с первого часа).

— На кого?

— Сейчас скажу. Вообразим фильм шестьдесят, ну, третьего, может, пятого года. Называется, конечно, «Ангарская история». Нефтеангарск только строится, на месте города — сплошной котлован, ГЭС закладывают, все дела. Ты только что окончила Новосибирский, допустим, филфак и приехала сюда библиотекаршей, потому что романтика, а строителей надо приобщать к прекрасному. Ты что заканчивала?

— Томский иняз. Неважно.

— Ну, один черт. И вот ты тут библиотекарем при гигантской комсомольской стройке, и сюда приехал я — журналист из Москвы, хлыщ в плаще, от «Социалистической», допустим, «индустрии» или, чем черт не шутит, из самой «Комсомолки». Писать про ваш подвиг. Тебя, естественно, прикрепили ко мне как самую культурную, и ты меня водишь по здешней грязи, с большим энтузиазмом рассказывая: здесь будет кинотеатр «Победа», здесь — универмаг «Победа», здесь — роддом «Победа»... И всюду техника фурычит: фурыч, фурыч! И ты смотришь на меня этак искоса, как бы проверяя: наш ли я человек? Достаточно ли я разделяю общий пафос? Нет ли во мне московского презрения к трудовому энтузиазму? Вроде нет,

вроде я наш парень, невзирая на плащ. А тебе ужасно интересно узнать, как там в Москве. Как там Вася Аксенов с журналом «Юность», все номера которого ты прочитываешь первой. Я обещаю непременно рассказать Васе Аксенову, какой тут спрос на его сочинения, и даже привезти его к вам при первой возможности. Васе как раз надо набрать впечатлений на «Пора, мой друг, пора». А как там Волчек? А что там Любимов?

— Любимова еще нет, — сказала она.

— Врешь, есть. Он с шестьдесят четвертого на Таганке. А если ты про него и не слышала — мало ли про что можно расспросить? Ты же библиотекарь, все читаешь. А я прямо оттуда. И один раз во время такого разговора я тебя слегка приобнимаю... не бойся, Таня, я ничего не буду иллюстрировать...

— Ой, боюсь, боюсь.

— Не дразни меня, Таня, зверя разбудишь. А потом, на одной из сопок... или я не знаю, что там... в общем, среди относительной природы, не распаханной еще техникой, ты вдруг полуоборачиваешься ко мне вот этак и смотришь оценивающе в своей манере, я неожиданно тебя, то есть ее, целую, и она, то есть ты, не отстраняется.

— Ага-ага, — сказала Таня. Латышев удержался и не двинулся с полки.

— Ну, потом ты, конечно, потупляешь взгляд и говоришь: «Больше так не надо». «Хорошо», — спокойно говорит московский журналист и продолжает расспрашивать про вашу местную жизнь. А штука в том, что в этой мест-

ной жизни в тебя страстно влюблен крановщик... как его звать?

— Допустим, Паша, — сказала она с вызовом.

— Хорошо, Паша. Которому ты даже подаешь надежды. Он хороший парень, этот Паша. Надежный такой.

— Фи, штамп.

— Ну а что ты хочешь? Шестьдесят пятый год, «Ленфильм».

— Цветное хоть или черно-белое?

— Нет, цветное, конечно. Но не широкоэкранное.

— А как же ширь тайги?

— Какая тайга, котлован сплошной. Короче, Паша — он действительно питает надежды. Каждый день тебе старается сюрприз устроить или мало ли... Например, ты сидишь, мечтательно заполняешь формуляры, представляешь себе благословенные невозможные города, где никогда не спят по ночам, оглядываешься, а за окном висит крюк от Пашиного крана, а на крюке букетик, я не знаю, саранок. Растут у вас саранки?

— Они по всей Сибири растут. Но собирать нельзя — они в Красной книге.

— Мать, какая Красная книга? Шестидесятые годы, дикая природа! Он вообще тебя всяко преследует краном, будит тебя по утрам нежным постукиванием крюка в окно барака, вывешивает на стреле транспарант «С добрым утром, Таня!», водит в кино, а после фильма провожает, приобняв, и долго рассуждает: жизненно или не жизненно. Паша широкий, светловолосый, на нем чуб возможен, у вас еще не

было — или уже было, но так, без особого энтузиазма, — и он с планами, серьезными. Предложение делал.

— Облезть!

— А то. И ты вроде даже не отказала. Сказала только, что не раньше, чем через год. Ты что-то чувствуешь, чего-то ожидаешь — а формально свадьба приурочена к сдаче первого жилого квартала. Бригадир строителей белозубый грузин Асатиани задолбал уже своими шуточками про будущее молодой семьи. Он у вас будет посаженный отец, Паша его любимец, все шутят про будущего первого гражданина Нефтеангарска, которого ты произведешь, и вообще вы с Пашей символ счастливого нового города. А ты не чувствуешь окончательной любви, ты знаешь, что бывает как-то еще... да?

— Ну конечно. Тогда же все такие были: хочу того, не знаю чего. И я коротко стриженная, да?

— Почему, не обязательно. Можно как сейчас, с хвостом. Ты же очень чистая, и Паша тебе тоже не велит коротко стричься, как эти всякие стилиаги.

— Стилиаг давно нету.

— Еще как есть! Короче, Паша случайно видел — или кто-то ему донес, — что приезжий журналист хороводится с его девушкой. Отвратительный лощеный москвич, в плащике. Ну, он покажет мне этот лоск, помажет мне этот плащик! И вот, когда я, проводив тебя, иду по ночному Нефтеангарску к двухэтажной деревянной гостинице «Ангарские огни», с легкой печалью думая о том, что вот и еще одна хорошая девушка, еще один вариант судьбы, и все

это никогда не будет моим, потому что мы слишком разные... и только будем друг друга вспоминать как прекрасную нереализованную возможность... иду такой, курю, немного похож на Мастроянни и знаю, что похож...

— Знаю, знаю! — Она даже подпрыгнула на полке. — Из темноты выходит Паша!

— Точно, выходит Паша. Он выдвигается мне навстречу, крупный, надежный, выпимши для храбрости. Если бы бить своего брата нефтеангарца, он бы и без выпивки был храбрый. Но я диковинный зверь, непонятно, чего от меня ждать, — и он насосался и подходит и нагло спрашивает: «Ну чё, товарищ журналист, как в Москве насчет абстракционизму?»

— Это от меня он, что ли, набрался?

— Да, может, и от тебя. «Ну что, как там наше Кикассо? Как наш Матист? Как наши пидорасы? Это они тебя, тварь, научили с чужими девками гулять?!»

— Слушай, как ты похоже показываешь... Даже тошно.

— It's my job. И он заносит крепкий кулак, но это все-таки шестьдесят пятый год, так что стандартные схемы уже несколько трещат. Уже наш журналист — назовем его Дима — не так прост, уже он изображается не одними черными красками, у него были послевоенное дворовое детство и суровая юность, он сам, может, из барака в Измайлове... И он сжимает Пашино плечо своей довольно-таки железной рукой и делает так, что Паша слегка хрустит и с криком боли и изумления — вот так: «С-э-э-у-к-а!» — оседает в грязь близ гостиницы «Ангарские огни».

— Какой ты храбрый!

— Ну дык. Однако, представь, победа не доставляет мне ни малейшей радости. Я иду к себе в номер с заметно испорченным настроением, раскладываю на столе пухлые от фактов блокноты и начинаю писать в номер. Но я, хотя и не совсем отрицательный, все-таки интеллигент, конформист, все дела. Будучи от природы неглуп и даже почитывая Кафку, я заполняю свои газетные очерки самой дешевой халтурой вроде: «Еще год назад жителями Нефтеангарска были одни медведи-шатуны. Теперь на свежем зеленом ветру гудят здесь вышки электропередачи и смелые молодые люди строят город, населять который — им»... Сама понимаешь, мне совершенно не до того, но работа есть работа.

— Работа есть всегда, — кивнула она.

— Ну вот. Я курю «Столичные» (что мне еще курить? Я же не шпион, чтобы курить «Мальборо!»), пишу свою халтуру, тру лоб... А в это время — знаешь ли ты, что делает Паша?

— Собирает дружков?

— Нет, какое. Ты ничего не понимаешь в Пашках. Он идет, естественно, к тебе и срывает на тебе злость. Вызывает тебя из твоего барака — а ночь ветреная, август, дело к осени... Ты в пальто, накинутом на ночную рубашку. Он кричит на тебя. Ты пытаешься увещевать: «Паша, поздно, мы поговорим завтра». Он ничего не хочет слушать. «Эта мразь... эта тварь московская...» — «Как ты можешь! Ты же совсем его не знаешь!» — перебиваешь ты, не желая слушать поношения, и тут он звереет окончательно. Он ударяет тебя наотмашь по круглой

щеке и с проклятиями бежит в сторону родного крана — жаловаться ему.

— Сейчас он влезет в кабину и по кирпичику разнесет построенное.

— Нет, ты что, у нас соцреализм. Никуда он не влезет, будет оплакивать свою непутевую жизнь. «Я его все равно убью!» — кричит он тебе, оборачиваясь и грозя кулаком. А ты, и без того настроенная против Паши, который против меня, конечно, не канает, — бежишь ко мне в «Ангарские огни», предупредить. Ты мчишься по грязи в чем была, в пальто поверх ночной рубашки, старуха на проходной тебя пропускает — ты же любимица города, — ты колотишь кулачками в мою дверь, и выхожу я.

— Весь в белом.

— Ну да, я же и статью пишу в галстук. В комнате слоями лежит табачный дым, на столе черновик почти готового очерка «Белозубые люди»... Ты бросаешься мне на грудь, и я ощущаю все твое тело...

— Сквозь тяжелое осеннее пальто. Очень интересно. Дальше мы теряем голову или как?

— Как это мы ее теряем на «Ленфильме» в шестьдесят пятом году? Мы вон в две тысячи седьмом в спальном купе все никак не потеряем, а ты вон чего хочешь...

Он думал, что она отреагирует на почти наглый намек, но она только улыбалась и грызла яблоко.

— А что мы тогда теряем?

— Дальше она шепчет, то есть ты: «Я думала, он тебя убьет». А он, то есть я, смотрю поверх твоей головы, и камера наезжает под музы-

ку Таривердиева, и зритель видит в моих глазах — что бы ты думала? — скуку. Тоску, и скуку, и давнюю опустошенность. Может быть, наплывом даже нарисуетя мокрый перрон, на котором я навеки провожаю странную, распутную женщину-ребенка с лицом Инны Гулая, и никто уже мне с тех пор по-настоящему не понравится, потому что я выжжен изнутри, и только таких действительно любят женщины. Тех, которые сами уже не полюбят никого и никогда. Я же не хотел будить любовь в этой девочке, простой и чистой, как росомаха.

— Росомаха, — назидательно сказала Таня, — толстый зверь, очень вонючий.

— Ну.. как кедр, если тебе так больше нравится. Я укладываю тебя спать, укрываю одеялом... Ты лежишь и мечтательно говоришь, глядя в потолок сияющими черными глазами Татьяны Самойловой: «Я всегда так мечтала... чтобы я лежала, а рядом кто-то пишет». «Вася Аксенов?» — спрашиваю я с улыбкой. «Или Булат Окуджава», — отвечаешь ты. «А про что ты пишешь?» — спрашиваешь ты после паузы. И просишь почитать тебе вслух.

— И ты читаешь очерк «Белозубые люди», и я бегу топиться в Ангару, — предположила Таня.

— Нет, что я, совсем дурак, что ли? Я читаю: «Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!

Разбудив вахтершу довольно невежливым толчком, я побранил ее, посердился, а делать

было нечего! И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а восемнадцатилетняя девушка чуть-чуть не утопила? Что случилось с старухой и с бедным слепым — не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему журналисту, да еще с подозрительной по казенной надобности!..»

И ты говоришь: «Очень здорово. Только похоже на что-то».

— Это говорит библиотекарь? — презрительно спросила Таня. — После новосибирского филфака? Не смейся людей.

— Да пойми, это говорящая деталь! У тебя от любви все вылетело из головы! Какая тебе «Тамань», когда жизнь, может быть, рухнет! И ты засыпаешь совершенно счастливая, а я сижу за столом в пластах табачного дыма и не могу придумать финал. Ни к очерку, ни к фильму.

— А какой все-таки финал? — спросила она, и Латышев с удовольствием заметил, что голос ее слегка дрогнул. Или она грамотно это сыграла — в Сибири никогда не поймешь.

— Ну, — сказал он, отхлебывая из фляжки, — если это шестидесятые годы, то финал простой. Титр «Прошло полгода». Полуторка останавливается возле почти возведенного жилого квартала. Из полуторки выскакиваешь ты. Может, беременная, а может, нет — я не уверен в Пашином великодушии, — но это я тебя поматросил и бросил, и ты вернулась из развратной Москвы. А тут как раз бригадир Асатиани. «Ладно, — произносит он. — Как говорят у нас на Кавказе: с кем не бывает». Паша простил, ты вернулась в лоно породившего тебя класса,

и случилось главное недостающее обстоятельство: ты хоть и от противного, но поняла, что Паша лучше всех. Финал: ты заполняешь формуляр на номер «Юности» с очередным Аксеновым, потом ненадолго задумываешься и кидаешь этот номер в мусорную корзину. А в окно нежно постукивает огромный крюк с наколотым на него билетом: вечером в вашем клубе выступает ансамбль «Березка»!

— Это какой-то пятьдесят девятый, — недоверчиво сказала Таня.

— Ну, еще кто-нибудь. Иосиф Кобзон с песней «Голубые города», под которую и идут финальные титры.

— Мне так не нравится, — сказала Таня, и Латышев возликовал.

— Ну хорошо, — сказал он. — Вариант семидесятых: тут уже серьезные городские кинодрамы. Завязка могла быть стандартная, а развязка такая, что благородный я улетаю с утра пораньше. Оставив тебе записку: «Не делай глупостей». И всю жизнь о тебе тепло вспоминаю, но спасаю тебя для Паши, потому что мне ты совсем не нужна. В это время лишний человек частично реабилитируется, потому что все уже лишние, так ведь?

— И открытый финал.

— Да, трусливый. Тогда все финалы были открытые.

— Но ясно, в общем, что я все равно к нему вернусь. Получается, мне деваться некуда.

— Почему?! — возмутился Латышев. — Есть же вариант восьмидесятых! Это уже засилье женщин во всех сферах жизни, потому что му-

жики частично спились, частично изверились и вообще настала эмансипация. Деловая женщина: «Москва слезам не верит», «Старые стены», «Время желаний»...

— «Блондинка за углом»... «Странная женщина»...

— Точно! — Он обрадовался: смотрела девка, помнит! — И тогда ты уезжаешь, конечно, со мной. И берешь полный моральный верх. Потому что ты точно чувствуешь конъюнктуру, ты просчитала, что сейчас надо быть в авангарде, на комсомольской стройке, а с нее можно перепрыгнуть в Москву — и в Москве ты сразу же бросаешь меня, перебираясь к кому-нибудь более престижному. И я тут же оказываюсь в роли Паши, а ты идешь по жизни маршем и в финале проносишься мимо меня на черной «Волге» и смотришь в рот какому-нибудь модному персонажу так же, как смотрела мне, и когда он тебя жирно целует, с той же невинной интонацией говоришь: «Не надо так больше». Финал.

Он видел, что угадал, что она довольна, что ему попался идеальный слушатель, знающий контекст, — и что одной этой импровизацией на советские кинотемы он добился большего, чем любым подбиванием клиньев. Все получилось. Как писал приятель-поэт: «И, ощущая вашу слобность, я начал быстро обнажаться, в душе хваля свою способность порой так ярко выражаться».

— А в девяностых? — спросила она задумчиво.

— В девяностых такой сюжет уже невозможен. Советский миф кончился, городов в Сибири больше не возводят.

— Ничего не кончился. Просто в девяностых про это не снимали. А сейчас очень возможен такой сюжет, у нас знаешь сколько строят?

— Да уж знаю, — усмехнулся он. Строить он и ехал — разрабатывать дизайн интерьеров для нового здания мэрии, какому позавидовал бы Музей Гугенхайма.

— И тогда, — сказала она с милым насмешливым состраданием, сразу выдавшим ее истинный возраст, — какое там младше на пять лет, как бы еще и не постарше на пару — тогда наш бедный друг приезжает в Нефтеангарск из Москвы и видит, что Москва больше ни фигу не столица. Он рассказывает про Аксенова и Любимова, дай им Бог здоровья, но Аксенов и Любимов давно уже никому на фиг не нужны. Он распускает хвост, но кому здесь нужен его хвост? У страны уже несколько столиц, и Москва не главная. Где нефтянка, там и столица. И живет его Таня не с крановщиком Пашей, а с нефтяником того же названия, и слушает своего Диму, а сама думает: «Дима ты, Дима...» У них в Нефтеангарске вчера Спиваков выступал, а послезавтра Спилберг прилетает. Паша Диму в гости приглашает, поляну накрывает, кедровой настойкой угощает. Любишь кедровую настойку?

— Не люблю, — сказал Латышев. За окном начинался Нефтеангарск.

— А чего ты обижаешься? — спросила Таня. — Сами виноваты. Кикассо, Кикассо... Может, если б вы сорок лет халтуру не гнали, все бы не с таким треском рухнуло. Были бы сейчас какие-нибудь приличные вещи, кроме нефти.

А вы все писали «Белозубых людей» и думали, что сойдет. Ни хрена не сойдет. Вот все Тани и живут с нефтяниками.

Она потянулась и встала.

— Выйди, я переоденусь.

...На перроне ее встречал толстый, лоснящийся самодовольством светловолосый и краснолицый мужик в идеально пошитом костюме.

— Николай, — сказал он, пожимая руку Латышеву. Был, конечно, соблазн сжать его кисть так, чтобы Николай хрустнул, но теперь от этого не было бы никакого толку.

— Как в Москве-то? — спросил он с некоторым пренебрежением. Москва была неизвестно где и ни на что уже, собственно, не влияла.

— Да так, — пожал плечами Латышев. — В последнее время какой-то все абстракционизм.

МОЖАРОВО

Памяти Валерия Фрида

— Значит, повторяю в последний раз, — сказал Кошмин, высокий сухой человек, больше похожий на следователя-важняка, чем на инспектора гуманитарки. — В Можарове стоянка пять минут. Этого им достаточно, чтобы отцепить вагон с гуппомощью. При первой же вашей попытке открыть двери или окна я буду действовать по инструкции. Потом не обижайтесь.

Васильеву и так было страшно, да еще и за окном сгушалась июльская гроза: набухали лиловые тучи, чуть не касавшиеся густого сплошного сльника. Безлюдные серые деревеньки по сторонам дороги глядели мрачно: ни живности, ни людей, только на одном крыльце сидел бледный большеголовый мальчик и провожал поезд недобрый внимательным взглядом, в котором не было ничего детского. Иногда Васильев замечал такой взгляд у безнадежных сумасшедших, словно сознающих свое печальное состояние, но бессильных его изменить.

— Да не буду я, — сказал Васильев с досадой. — Вы же еще в Москве пять раз предупреждали.

— Всех предупреждали, — буркнул Кошмин, — а некоторые открывали...

— Да у нас вон и окно не открывается.

— А Горшенин, который перед вами ездил, бутылкой разбил окно, — мрачно напомнил Кошмин.

— Ну, у нас и бутылки нет... И решетки вон снаружи...

— В эту решетку свободно можно руку просунуть. Хлеба дать или что. И некоторые просовывали. Вы не видели, а я видел.

Васильева бесило, что Кошмин столько всего видел, но ни о чем не рассказывал толком. Он терпеть не мог неясностей.

— Вы лучше заранее скажите, Георгий Валентинович, — Васильеву было всего двадцать пять, и он обращался к инспектору уважительно. — Что это за сирены такие, перед которыми невозможно устоять? Честное слово, проще будет. Кто предупрежден, тот вооружен.

— А чего вы такого не знаете? — настороженно глянул Кошмин. — Вам все сказано: на станции подойдут люди, будут проситься, чтоб впустили, или там открыть окно, принять письмо для передачи, дать хлеба. Принимать ничего нельзя, открывать окна и двери не разрешается ни в коем случае. Можарово входит в перечень населенных пунктов, где выходить из поезда запрещается, что непонятного?

— Да я знаю. Но вы хоть скажите, что там случилось. Зона зараженная или что.

— Вас когда отправляли, лекцию читали? — спросил Кошмин.

— Ну, читали.

— Перечень пунктов доводили?

— Доводили.

— И что вам непонятно? Какая зараженная зона? Обычная зона гуманитарной помощи в рамках национального проекта поддержки русской провинции. Всё нормалдык. Но есть определенные правила, вы понимаете? Мы же не просто так, как баба на возу. Мы действуем в рамках госпроекта. Надо соблюдать. Если не будете соблюдать, я довожу о последствиях.

— Понял, понял, — сказал Васильев. Он терпеть не мог, когда ему что-либо доводили. Это его доводило. Также он терпеть не мог слов «йок» и «нормалдык». — А почему тогда вообще не закрыть окна на это время? Жалюзи какие-нибудь спустить железные, ставни, я не знаю...

— Ну как это, — поморщился Кошмин. — Едет же пресса вроде вас. Иностранцы наблюдают вон едут. Что, в глухом вагоне везти, как скотину? Вон в седьмом едет представитель фонда этого детского, Майерсон или как его. Он и так уже приставал, почему решетки. Ему не нравится из-за решетки глядеть. Он не знает, а я знаю. Он Бога должен молить, что решетки.

Люди вроде Кошмина всегда были убеждены, что за их решетки все должны кланяться им в пояс, потому что иначе было бы еще хуже.

— И потом, это же не везде так, — добавил он успокоительно. — Это одна такая зона у нас на пути, их и всего-то шесть, ну, семь... Проедем, а дальше до Урала нормально. Можно выходить, картошки там купить отварной, с укропом... пообщаетесь с населением, если хотите... Заповедник, природа... Всё нормалдык! Зачем же ставни? Всего в двух пунктах надо соблю-

дать, Можарово и Крошино, а в остальное время ходите, пожалуйста, ничего не говорю...

Васильев попытался вообразить, что делается в Можарове. Еще когда их группу — три телевизионщика в соседнем вагоне и он от «Ведомостей» — инструктировали перед отправкой первого гуманитарного поезда, пересекающего Россию по случаю нацпроекта, инструктор явно чего-то недоговаривал. К каждому журналисту был прикреплен человек от Минсельхоза с внешностью и манерами профессионального охранника — что за предосторожности во время обычной поездки? Оно конечно, в последнее время ездить между городами стало опасно: всюду потрошили электрички, нападали на товарняки... Ничего не поделаешь, тоже был нацпроект — приоритетное развитие семи мегаполисов, а между ними более или менее дикое поле, не надо нам столько земли... Кто мог — перебрался в города, а что делалось с остальными на огромном российском пространстве, Васильев представлял смутно. Но он был репортер, вдобавок с армейским опытом, и его отправили с первым гуманитарным — писать репортаж о том, как мегаполисы делятся от своих избытков с прочим пространством, где, по слухам, и с электричеством-то уже были перебои. Правда, о том, что на отдельных станциях нельзя будет даже носу высунуть на перрон, в Москве никто не предупредил. Тогда симпатичная из «Вестей» точно бы не поехала — она и так все жаловалась, что в вагоне не предусмотрена ванна. Ванна была только в спецвагоне Майерсона,

потому что он был филантроп и Бог знает какой миллиардер, Гейтс курит.

За окном плыл безлюдный и ничем не примечательный, но именно поэтому особенно страшный пейзаж: все те же пустые серые деревни, иногда одинокая коза с красной тряпкой на шее, иногда тихий косарь, в одиночку выкашивавший овраг, — косарь тоже смотрел вслед поезду, нечасто он теперь видел поезда, и лица его Васильев не успевал разглядеть; мелькало поле с одиноко ржавевшим трактором — и опять тянулся угрюмый ельник, над которым клубилась лиловая туча. Быстро мелькнули остатки завода за полуразвалившимся бетонным забором, ржавые трубы, козловой кран; потянулось мелкоколесье, среди которого Васильев успел разглядеть бывшую воинскую часть за ржавой колючей проволокой, на которой так и остался висеть чей-то ватник — небось мальчишки лазали за техникой... Поезд замедлял ход.

— Что там хоть раньше-то было, в Можарове? — спросил Васильев, чтобы отвлечься от исподволь нараставшего ужаса. Он знал, что Минсельхоз просто так охранников не приставляет — там работали теперь люди серьезные, покруче силовиков. — Может, промыслы какие?

— Кирпичный завод, — нехотя ответил Кошмин после паузы. — Давно разорился, лет тридцать. Ну и по мелочи, обувная, мебельная фабрика... Театр кукол, что ли... Я тогда не был тут.

— А сейчас есть что-то?

— Если живут люди — значит, есть, — сказал Кошмин с таким раздражением, что Васильев почел за лучшее умолкнуть.

— В общем, я вас предупредил, — проговорил Кошмин после паузы. — К окну лучше вообще не соваться. Если нервы слабые, давайте занавеску спущу. Но вообще-то вам как журналисту надо посмотреть. Только не рыпайтесь.

— Ладно, ладно, — машинально сказал Васильев и уставился на медленно плывущую за окном станцию Можарово.

Сначала ничего не было. Он ожидал чего угодно — монстров, уродов, бросающихся на решетку вагона, но по перрону одиноко брела старуха с ведром и просительно заглядывала в окна.

— Раков! — покрикивала она. — Вот раков кому! Свежие кому раки!

Васильев очень любил раков и остро их захотел, но не шелохнулся. Старуха подошла и к их вагону, приблизила к стеклу доброе изможденное лицо, на котором Васильев, как ни вглядывался, не мог разглядеть ничего ужасного.

— Раков! — повторила она ласково. — Ай кому надо раков?

— Молчите, — сквозь зубы сказал Кошмин. Лицо его исказилось страданием — тем более ужасным, что, на взгляд Васильева, совершенно беспричинным. Не может быть, чтобы ему так сильно хотелось раков, и теперь его раздирала борьба аппетита с инструкцией.

Старуха отвернулась и тоскливо побрела дальше. Станция постепенно заполнялась людьми — вялыми, явно истощенными, двигавшимися замедленно, как в рапиде. К окну подошла молодая мать с ребенком на руках; ребенок был желтый, сморщенный, вялый, как тряпичная кукла.

— Подайте чего-нибудь ради Христа, — сказала она тихо и жалобно. Несмотря на толстое стекло, Васильев слышал каждое ее слово. — Работы нет, мужа нет. Христа ради, чего-нибудь.

Васильев со стыдом посмотрел на дорожную снедь, которую не успел убрать. В гуманитарных поездах кормили прекрасно, Минсельхоз не жалел средств. На купейном столике разложены были колбаса двух сортов, голландский сыр, что называется, со слезой, и паштет из гусиной печени с грецким орехом, так называемый страсбургский. Прятать еду было поздно — нищенка все видела. Васильев сидел весь красный.

Вдоль поезда шла девочка с трогательным и ясным личиком, словно сошедшая с рождественской олеографии, на которых замерзающие девочки со спичками обязательно были ангелоподобны, розовы, словно до попадания на промерзшую улицу жили в благополучнейшей семье с сытными обедами и ежеутренними ваннами. Васильеву казалось даже, что он видел эту девочку на открытке, сохранившейся в семье с дореволюционных времен, — в этой открытке прапрапрадедушка поздравлял прапрапрабабушку с новым 1914 годом. Девочка подошла к окну, подняла глаза и доверчиво произнесла:

— Мама болеет. Совсем болеет, не встать. Дяденьки, хоть чего-нибудь, а?

Она просила не канюча, улыбаясь, словно не хотела давить на жалость и стыдилась своего положения.

— А я песенку знаю, — сказала она. — Вот, песенку спою. Не прошла-а-а зима, снег еще-е-е

лежит, но уже домо-о-ой ласточка спешит-и-ит... На ее пути горы и моря, ты лети, лети, ласточка моя-а-а...

Васильев знал эту песню с детского сада и ребенком всегда плакал, когда ее слышал. Он посмотрел на Кошмина. Тот не сводил с него глаз, ловил каждое движение — не было никакой надежды обмануть его и хоть украдкой выбросить в окно деньги или упаковку колбасы; да и решетка...

— Ну вот скажите мне, — ненавидя себя за робкую, заискивающую интонацию, выговорил Васильев, — вот объясните, что был бы за вред, если бы мы сейчас ей подали кусок хлеба или три рубля?

— Кому — ей? — жестко переспросил Кошмин.

— Ну вот этой, девочке...

— Девочке? — снова переспросил Кошмин.

Что он, оглох, что ли, подумал Васильев. Может, он вообще сумасшедший, псих проклятый, придали мне уroda, а я теперь из-за него не могу ребенку дать еды.

— Вы не видите, что ли?!

— Вижу, — медленно сказал Кошмин. — Сидите смирно, или я не отвечаю.

К окну между тем подошла еще одна старуха, маленькая, согбенная, очкастенькая, с личиком провинциальной учительницы. Дрожащей скрюченной лапкой она протянула к самому лицу Васильева маленькие вязаные тапочки, такие еще называют пинетками, собственные его пинетки до сих пор хранились дома, покойная бабушка связала их крючком. Если бы не

дедушкина пенсия да не проживание в Москве, покойная бабушка на старости лет могла бы стоять точно так же.

— Купите тапочки, — умоляюще сказала старушка. — Хорошие тапочки, чистая шерсть. Пожалуйста. Дитенку там или кому.. Купите тапочки...

Вот они, сирены Можарова. Вот к кому нам нельзя теперь выходить. От собственного народа мы отгородились стальными решетками, сидим, жрем страсбургский паштет. Васильев встал, но Кошмин как-то так ткнул его стальным пальцем в подреберье, что журналист согнулся и тут же рухнул на полку.

— Предупреждал, — с отвратительным злорадством сказал Кошмин.

— Предупреждал он, — сквозь зубы просипел Васильев. — Суки вы все, суки позорные... Что вы сделали...

— Мы? — спросил Кошмин. — Мы ничего не сделали. Это вас надо спрашивать, что вы сделали.

Парад несчастных за окном в это время продолжался: к самым решеткам приник пожилой, болезненно полноватый мужчина с добрым и растерянным лицом.

— Господа, — лепетал он срывающимся голосом, — господа, ради Бога... Я не местный, я не как они... Поймите, я здесь случайно. Я случайно здесь, я не предполагал. Третий месяц не могу выбраться, господа, умоляю. Откройте на секунду, никого не впустим. Господа. Ведь нельзя же здесь оставлять... поймите... я интеллигентный человек, я такой же человек, как вы. Ведь невыносимо...

Голос его становился все тише, перешел в шепот и наконец сорвался. Мужчина рыдал, Васильев мог бы поклясться, что он плакал беспомощно и безнадежно, как младенец, забытый в детском саду.

— Я все понимаю, — снова начал он. — Я вас понимаю прекрасно. Но я вас умоляю, умоляю... я клянусь чем хотите... Вот! — внезапно осенило его, и из кармана мятого серого плаща он извлек какую-то обтерханную справку. — Тут все написано! Командировка, господа, командировка... умоляю... умоляю...

Тут он посмотрел влево, и на лице его отобразился ужас. Кто-то страшный, в водолазном костюме, неумолимо подходил к нему, отцеплял от решетки вагона его судорожно сжатые пальцы и уводил, утаскивал за собой — то ли местный монстр, то ли страж порядка.

— Ааа! — пронзительным заячьим криком заверещал пожилой, все еще оглядываясь в надежде, что из вагона придет помощь. — Спасите! Нет!

— Это кто? — одними губами спросил Васильев.

— Кто именно?

— Этот... в водолазном костюме...

— В каком костюме?

— Ну, тот... который увел этого...

— Милиция, наверное, — пожал плечами Кошмин. — Почему водолазный, обычная защита... Тут без защиты не очень погуляешь...

Станция заполнялась народом. Прошло лишь пять минут, а вдоль всего перрона тащились, влачили, ползли убогие и увечные. В них не было ничего ужасного, ничего из дурного фан-

тастического фильма — это были обычные старики, женщины и дети из советского фильма про войну, толпа, провожающая солдат и не надеющаяся дождаться их возвращения. Уйдут солдаты, придут немцы, никто не спасет. В каждом взгляде читалась беспокойная, робкая беспомощность больного, который живет в чужом доме на птичьих правах и боится быть в тягость. Такие люди страшатся обеспокоить чужого любой просьбой, потому что в ответ могут отнять последнее. На всех лицах читалось привычное кроткое унижение, во всех глазах светилась робкая мольба о милости, в которую никто толком не верил. Больше всего поразила Васильева одна девушка, совсем девчонка лет пятнадцати — она подошла к вагону ближе других, опираясь на два грубо сработанных костыля. Эта ни о чем не просила, только смотрела с такой болью, что Васильев отшатнулся от окна — ее взгляд словно ударил его в лицо.

— Что ж мне делать-то, а! — провыла она не с вопросительной, а с повелительной, надрывной интонацией, словно после этих ее слов Васильев должен был вскочить и мчаться на перрон, спасти всю эту измученную толпу. — Что ж делать-то, о Господи! Неужели ничего нельзя сделать, неужели так и будет все! Не может же быть, чтобы никакой пощады нигде! Что ж мы всем сделали?! Нельзя же, чтобы так с живыми людьми...

Этого Васильев не мог выдержать. Он все-таки отслужил, вдобавок занимался альпинизмом, так что успел повалить Кошмина резким хуком слева, своим фирменным, — и выбежал

в коридор, но там его уже караулил проводник. Проводник оказался очень профессиональный — в РЖД, как и в Минсельхозе, не зря ели свой страсбургский паштет. Васильев еще два дня потом не мог пошевелить правой рукой.

— Нельзя, — шепотом сказал проводник, скрутив его и запихнув обратно в купе. — Нельзя, сказано. Это ж как на подводной лодке. Сами знать должны. Знаете, как на подводной лодке? — Странно было слышать этот увещивающий шепот от человека, который только что заломал Васильева с профессионализмом истинного спецназовца. — На подводной лодке, когда авария, все отсеки задраиваются. Представляете, стучат люди из соседнего отсека, ваши товарищи. И вы не можете их впустить, потому что устав. В уставе морском записано, что нельзя во время аварии открывать отсеки. Там люди гибнут, а вам не открыть. Вот и здесь так, только здесь не товарищи.

— Мрази! — заорал Васильев, чумая от бесильной ненависти. — Мрази вы все! Кто вам не товарищи?! Старики и дети больные вам не товарищи?! Это что вы за страну сделали, стабилизаторы долбаные, что вы натворили, что боитесь к собственному народу выйти! Это же ваш, ваш народ, что ж вы попрятались от него за решетки! Хлеба кусок ему жалеете?! Рубль драный жалеете?! Ненавижу, ненавижу вас, ублюдков!

— Покричи, покричи, — не то угрожающе, не то одобрительно сказал проводник. — Легче будет. Чего он нервный такой? — обратился он к Кошмину.

— Журналист, — усмехнулся Кошмин.

— А... Ну, пусть посмотрит, полезно. Тут, в Можарове, журналистов-то давно не было...

— Что они там возятся с вагоном? — неодобрительно спросил Кошмин у проводника. Они разговаривали запросто, словно коллеги. — Давно отцепили бы, да мы бы дальше поехали...

— Не могут они быстро-то, — сказал проводник. — Меньше двадцати минут не возятся.

— Ослабели, — снова усмехнулся Кошмин.

В этот момент поезд дрогнул и тронулся. Несколько девочек в выцветшем тряпье побежали за вагоном — впрочем, какое побежали, скорей поползли, шатаясь и сразу выдыхаясь; Васильев отвел взгляд.

— Ну, извиняй, журналист, — сказал проводник, переводя дух. — Сам нам будешь благодарен.

— Ага, — сказал Васильев, потирая плечо. — За все вам благодарны, всю жизнь. Скажи спасибо, что не до смерти, что не в глаз, что не в рот... Спасибо, век не забуду. Есть такой рассказ — вы-то не читали, но я вам своими словами, для общего развития... Называется «Ушедшие из Омеласа». Имя автора вам все равно ничего не скажет, так что пропустим. Короче, есть процветающий город Омелас. И все в нем счастливы. И сплошная благодать с народными гуляньями...

— А в жалком подвале за вечно запертой дверью, — невозмутимо вступил Кошмин, — сидит мальчик-олигофрен, обгаженный и голодный. Он лепечет: выпустите, выпустите меня. И если его выпустить, весь город Омелас с его процве-

танием полетит к чертям собачьим. Правильно? Причем ребенок даже не сознает своего положения, и вдобавок он недоразвитый. Даун он, можно сказать. Слезинка ребенка. Читали. Урсула Ле Гуин. Наше ведомство начитанное.

— Какое ведомство? — спросил оторопевший Васильев.

— Минсельхоз, — сказал Кошмин и подмигнул проводнику. Тот жизнерадостно оскалился в ответ.

— Но если вы все это читали... — упавшим голосом начал Васильев.

— Слушай, журналист, — Кошмин наклонился к нему через столик. — Ты думать можешь мало-мало или вообще уже все мозги отшибло? Ты хорошо их слышал?

— Кого — их?

— Ну голоса их, я не знаю, кого там ты слышал. Хорошо слышал?

— Ну, — кивнул Васильев, не понимая, куда клонит инструктор.

— А ведь стекло толстое. Очень толстое стекло, журналист. А ты их слышал, как будто они рядом стояли, — нет? И видел ровно то, что могло на тебя сильнее всего надавить, так? Зуб даю, что-нибудь из детства.

— А вы? — пролепетал потрясенный Васильев. — Вы что видели?

— Что я видел, того тебе знать не надо! — рывкнул Кошмин. — Мало ли что я видел! Тут каждый видит свое, умеют они так! Интересно послушать потом, да только рассказывать чаще всего некому. Тут шелку в вагоне приоткроешь — и такое...

— Ладно, — устало сказал Васильев. Он все понял. — Кому другому вкручивайте. Ведомство ваше, Минсельхоз, Минпсихоз или как вы там называетесь, — вы хорошо мозги парите, это я в курсе. И фантастику читали, вижу. Но дураков нет вам верить, понятно? Уже и телевизор ваш никто не смотрит, про шпионов в школах и вредителей в шахтах. И про призраков в Можарове, которых я один вижу, — не надо мне тут, ладно? Не надо! Я и так ничего не напишу, да если б и написал — не пропустите.

— Вот клоун, а? — усмехнулся проводник, но тут же схватился за рацию. — Восьмой слушает!

Лицо его посерело, он обмяк и тяжело сел на полку.

— В двенадцатом открыли, — еле слышно сказал он Кошмину.

— Корреспонденты? — спросил Кошмин, вскакивая.

— Телевизионщики. Кретины.

— И что, все? С концами?

— Ну а ты как думал? Бывает не все?

— Вот дура! — яростно прошептал Кошмин. — Я по роже ее видел, что дура. Никогда таких брать нельзя.

— Ладно, о покойнице-то, — укоризненно сказал проводник.

Васильев еще не понимал, что покойницей называют симпатичную из «Вестей». До него все доходило как сквозь вату.

— Нечего тут бабам делать, — повторял Кошмин. — В жизни больше не возьму. Что теперь с начпоездом в Москве сделают, это ужас...

— Ладно, пошли, — сказал проводник. — Оформить надо, убрать там...

Они вышли из купе, Васильев увязался за ними.

— Сиди! — обернулся Кошмин.

— Да ладно, пусть посмотрит. Может, поймет чего, — заступился проводник.

— Ну иди, — пожал плечом инструктор.

Они прошли через салон-вагон перепуганного Майерсона. «Sorry, a little incident», — на безукоризненном английском бросил Кошмин. Майерсон что-то лепетал про оговоренные условия личной безопасности. Пять вагонов, которые предстояло насквозь пройти до двенадцатого, показались Васильеву бесконечно длинным экспрессом. Мельком он взглядывал в окно, за которым тянулись все те же серые деревни; лиловая туча, так и не проливаясь, висела над ними.

В тамбуре двенадцатого вагона уже стояли три других проводника. Они расступились перед Кошминым. Васильев заглянул в коридор.

Половина окон была выбита, дверцы купе проломаны, перегородки смяты, словно в вагоне резвился, насытившись, неумолимый и страшно сильный великан. Крыша вагона слегка выгнулась вверх, словно его надували изнутри. Уцелевшие стекла были залиты кровью, клочья одежды валялись по всему коридору, обглоданная берцовая кость виднелась в ближайшем купе. Станный запах стоял в вагоне, примешиваясь к отвратительному запаху крови, — гниlostный, застарелый: так пахнет в пустой избе, где давным-давно гниют сальные тряпки да хозяйничают мыши.

— Три минуты, — сказал один из проводников. — Три минуты всего.

— Чем же они ее так... купили? — произнес второй, помладше.

— Не узнаешь теперь, — пожал плечами первый. — Не расскажет.

— Иди к себе, — обернулся Кошмин к Васильеву. — Покури пойдя, а то лица на тебе нет. Ничего, теперь только Крошино проехать, а потом всё нормалдык.

ЧУДЬ

Первое намерение Кожухова было — от-вернуться, зарыться в подушку и попытаться заснуть опять. Но он был человек сообразительный и в таких случаях сразу понимал: все, спокойная жизнь кончилась, надо как можно быстрее проснуться окончательно и поглядеть обстоятельствам в лицо. Обстоятельства сидели на нижней полке, за столиком купе.

Когда она вошла? Вероятно, в Курске. Кожухов глянул на часы: три ночи, самое поганое время. До Орла еще часа два. Он почему-то понимал, что света лучше не зажигать, да и в вагонной полутьме, в белесоватых сполохах пробегающих полустанков с их ртутными фонарями в жестяных конусах, он видел ее отлично. За окном тянулась ночная, тревожная, бесприютная Россия, мало похожая на дневную. Ночные поезда перевозили тайные грузы, неумолимых и опасных людей, секретную почту, по предписаниям которой однажды в час «Ч» начнется ожидаемое всеми ужасное. Днем они могли говорить что угодно, давать гарантии, изображать цивилизованную страну, но ночью жили своей настоящей жизнью и занимались тем единственным, что умели,

и все про это знали, и дневным их разговорам никто не верил.

Она подняла огромные прозрачные глаза и взглянула прямо на Кожухова и тоже узнала его, хотя прошло два года. Если бы она его не узнала, все могло обойтись, но теперь деваться было некуда.

Да, два года назад он впервые увидел эту рекламу, которую поначалу, идиоты, еще принимали за социальную. Она стояла там среди невыразительного пейзажа — опушка подмосковного леса, дачный поселок вдали, — смотрела в камеру этими огромными прозрачными глазами (такой цвет бывает у моря в тихий весенний пасмурный день) и говорила медленно, словно объясняя непонятливому ребенку:

— Капли холодной росы блестят на туго натянутой колючей проволоке.

Фразы менялись, одна бессмысленнее другой. Иногда она с той же назидательной интонацией уверяла:

— Косая тень от черных гор перегородила оранжевую долину.

— Никто еще не видел раскаяния от самолюбленного тюльпана, растущего на краю плоскогорья.

— Первая же попытка закончится так, что думать о второй сможет только малахит.

Находились расшифровщики, переписывавшие эти ролики на домашние магнитофоны, просматривавшие по двадцать раз в поисках двадцать пятого кадра, изучавшие на профессиональной аппаратуре — нет ли хоть на заднем плане намек на позиционируемый

товар; однажды она появилась на фоне пустого шоссе — были люди, уверявшие, что это так называемая вторая Рублевка, в помощь к наглухо забитой первой, и вся рекламная кампания с дальним прицелом затеяна ради нее; в конце концов, каждый рекламный сериал должен чем-нибудь закончиться, и чем дольше подготовка, тем ударней эффект. Когда-то, на заре российского телерекламного бизнеса, самым шумным проектом был цикл роликов «Когда-нибудь я скажу все, что думаю по этому поводу». Молодой человек на нейтральном офисном фоне повторял и повторял эту угрозу, пока в один прекрасный день не сказал какую-то ерунду то ли про «Алису», то ли про «Менатеп»: финальный месседж забылся начисто, но акцию помнили все. Оставалось понять, чего хотят эти, с большеглазой девушкой, размещая ее меланхолическую белиберду в самое дорогое время на главных каналах.

Кожухов потом спрашивал себя: почувствовал ли он угрозу с самого начала? Нет, ничего подобного. Все уже привыкли к вырождению. Не могло произойти ничего ужасного — только смешное, гнусное, стыдное. Скажи ему кто-нибудь, что вместе с этой заторможенной длинноволосой мальвиной с ее кодовыми загадками в кислое существование ворвется чудовищная, но настоящая жизнь, — он первым расхохотался бы. Сами виноваты: поверили, что на свете нет ничего, кроме пиара. Впрочем, кто-то ведь коллекционировал эти фразы, создавал в ЖЖ сообщество «dura_iz_rolikov», подбирал ключи к шифру: а что получается по первым буквам всех слов в очередной фразе?

«В лунном ядовитом свете одинокая кукла сидела у бурой, окровавленной кирпичной стены»: ВЛЯСОКСУБОКС! Удивительно содержательный месседж. Попробуем вторые буквы всех слов, минуя предлоги: УДВДУИУКИТ! Третьи, пятые... Хорошо, а если первая буква в первом слове, вторая во втором, третья в третьем? Получались идиотские сочетания, из которых выкапывали самый фантастический смысл: однажды у кого-то в результате очередных каббалистических комбинаций сложился ККОДОР, предположили тайные приветы ему, посылаемые группой могущественных, но боязливых олигархов, — но смысл, едва наметившись, растворился в потоке белиберды. Темные склоненные головы роз внятно обозначались в провалах летней ночи. Крупные точеные градины ударили по дороге, выбив крупные точеные впадины. В записке не содержалось ничего, кроме приглашения прибыть по тщательно зачеркнутому адресу.

Самой убедительной казалась тогда версия Петровской: производителям надоело, что люди на время рекламных пауз переключаются на другой канал или уходят в сортир, всем захотелось приковать внимание зрителя к рекламе — и вот преуспели, страна застывает у телевизоров, слушает про шампуни и йогурты, только и ждет рекламы — не появится ли белоглазая с очередным бредом. Расчет гениальный: при полном отсутствии событий хоть какая-то интрига, второй месяц не надоедает. Единственная попытка журналистского расследования тогда ничего не дала: менеджеры каналов не имели права раскрывать произ-

водителя роликов, таковъ было его условие. Потом-то, само собой, все равно пришлось колотья: когда после третьего взрыва стала очевидна связь между очередными появлениями Чуди Белоглазой и крупными техногенными катастрофами либо терактами — ролики прекратились, а обнародованные результаты расследования свелись к тому, что сюжеты рассылала по компаниям корпорация ДОМОКС, зарегистрированная на Кипре и расположенная по фальшивому адресу. Деньги от нее приходили исправно, арест счетов ничего не дал, владельцем значился Иван Иванович Иванов.

Буча была большая, рекламные паузы на месяц прекратились вовсе, но жизнь пошла такая, что стало не до рекламных пауз. Чудь появлялась когда-то раз в неделю, и сразу после очередных ее реплик, ничуть не осмысленней прочих (что-то про удивительно гладкий снег, припорошивший слепое болото, про восторженные крики грачей на осенней заре и тревожный голос поезда, скользящего в сырой глубине ущелья), с таким же недельным интервалом грохнули подряд один поезд и два нефтепровода. Могла быть элементарная халатность, отсроченная техногенная катастрофа-2003, а мог быть и теракт, хотя в наши стабильные времена, при замирной Чечне, кто же признался бы, — но как бы то ни было, связь была замечена всеми, и Чудь исчезла. Официальная версия была озвучена всего единожды: таким способом организатор подавал сигнал исполнителю, вредительство на транспорте, ничего нового, — всю рекламу стали перепроверять, и на полгода все смолкло.

А потом она стала всплывать вновь — то тут, то там, на цифровом, на кабельном, потому что деньги за нее, видимо, платили неплохие, а денег становилось все меньше, и рекламный рынок был давно поделен, и тем, кто хотел выживать, приходилось подпитываться чем угодно, не отказываясь даже от сомнительных предложений. Если на КТВ-1 вовсю рекламировали порножурналы, а «М-Спорт» не брезговал табачно-алкогольными роликами, не было ничего удивительного в том, что Чудь вернулась. Все ее явления отслеживались тщательно — и не только органами, но и немедленно реанимированным сообществом, которое, кстати, работало лучше органов. Некоторые ее новые шедевры в режиме u-tube уже были выложены на общее обозрение: «Я знаю, что вы не знаете, но вы не знаете, почему я знаю и буду перемигиваться». «У одного открытие, у другого закрытие, но только некоторые могут понять, почему на самом деле не нужно». «Я не то, а другое, не то другое, что подумали вы, а то, что подумала я». Она говорила теперь не о пейзажах, а все больше о себе да о других людях, которые чего-то не понимали. Это породило новую волну толкований — и опять был недолгий люфт, зазор, попытка, что ли, приучить к ней, подсадить... После двух первых ее появлений ничего не случилось. Когда после третьего вспыхнула эпидемия чумы в Омске, региональный канал, показавший очередной ее ролик, прикрыли, а владельца объявили в розыск. После этого Чудь исчезла окончательно, хотя катастрофы не прекратились — они в последнее время шли лавиной, словно наверсты-

вая упущенное в годы стабильности, когда все уж было расслабились.

Удивительно, что никто не встречал ее ни в студийных коридорах, ни в рекламных агентствах; ее портфолио не было на киностудиях, журнальные модели о ней не слыхивали, ее родственники и учителя не подавали голоса, хотя газетчики не оставляли разысканий. Кажется, она существовала только на пленке — или жила в своем проклятом Подмоскovie, на фоне которого главным образом и появлялась. Там, среди капель росы, блестящих на колючей проволоке, и крупных впадин, выбитых крупными градинами, она и пребывала вечно — в своем страшном замкнутом мире, где ее наверняка держали для темных экспериментов, иначе откуда бы у нее эти наркоманские прозрачные глаза?

Кожухов с самого начала ощущал нечто вроде связи с ней — и не только потому, что сам давно предчувствовал эту отложенную, но неизбежную волну всеобщего осыпания. Просто он видел ее однажды в детстве, уверен был, что видел: ее привели на детскую площадку, где играл весь их молодняк с Ломоносовского проспекта, с той его части, что примыкала к Золотым ключам: на этой площадке, с многочисленными и сложными лазилками, высокими качелями и настоящей полосой препятствий, шла своя, насыщенная и взрослая жизнь (многие игры и интриги на работе казались ему потом гораздо более детскими), все завсегда и знали друг друга, обсуждали важные вещи, при встречах здоровались многозначительно. Прозрачноглазая появилась единственный раз,

ее привела строгая, подтянутая бабушка, не вступавшая в разговоры с легкомысленными местными мамами: она сидела обособленно, с толстой книгой, в которую, впрочем, не заглядывала, — просто смотрела в пространство, а книгу держала на коленях. Новая девочка поучаствовала в общих играх, но как-то вяло. Кожухов ее запомнил, она была красивая — но главное, она понимала цену всем их занятиям и не могла этого скрыть. Ей почти сразу становилось скучно. И до самой этой рекламной истории Кожухов никогда ее больше не видел, только потом вспомнил: батюшки, это же было перед самой школой, перед третьим классом, в августе девяносто первого года. Но тогда-то ее, восьмилетнюю, кто использовал?!

Впрочем, это могла быть вовсе не она. Мало ли девушек с прозрачными глазами. Но в свою тайную связь с ней Кожухов верил не просто так: никто из активистов сообщества «*dura_iz_golikov*» не удостоился личной встречи с культовой героиней, а ему повезло, хотя после этого везения он еще неделю вскакивал по ночам в холодном поту. Он ехал в лифте, поздним вечером, пьянствовать к приятелю — и вдруг лифт остановился на пятом этаже, открылись двери и вошла она. В руке у нее был шприц. Кожухов запомнил все со страшной отчетливостью: голубую куртку, в которой она ни разу не появлялась на экране (там были все больше странные брезентовые ветровки с джинсами), издевательскую ухмылку и особенно, само собой, шприц. И кто бы не запомнил — едва войдя и нажав четырнадцатый (Кожухову нужен был двенадцатый, но он не посмел возражать), она

принялась быстро-быстро размахивать этим самым шприцем перед самыми его глазами, туда-сюда, и он стоял как парализованный, не в силах даже зажмуриться, не то что защититься рукой. Почему-то он был уверен, что вот сейчас она воткнет иглу прямо ему в глаз, — но вместо этого она быстро и профессионально, прямо сквозь куртку, уколола собственное плечо и, лунатически посмеиваясь, вышла. Кожухов не посмел шагнуть за ней, помчался к приятелю, тут же вызвал милицию — долго объяснять не понадобилось, история была шумная, все про нее помнили, — дом оцепили через десять минут, прочесали все квартиры на четырнадцатом, все лестничные клетки и кладовки, но, естественно, никого не нашли. Он почему-то знал, что не найдут, и звонил для очистки совести. Впрочем, за эти десять минут она могла ускользнуть десять раз — передала какое-нибудь зелье или деньги за него, и поминай как звали. Внизу надо было дежурить. Почему он не побежал вниз караулить дверь? Боялся еще раз встретиться с ее прозрачными белесыми глазами? Или втайне не хотел, чтобы ее взяли?

Теперь она сидела на нижней полке в купе, в котором уже тридцатилетний Кожухов из самого Симферополя ехал один (понятное дело, весна, не сезон). Поезд раскачивался, грохотал, пронеслись и затихали встречные электрички, и казалось, что грохот все громче, а раскачка все рискованней: понятно ведь — где она, там катастрофа. Кожухов никогда не ответил бы, красива она или уродлива. Наверное, красива — точнее, казалась бы красивой, будь она хоть чуть благополучней, не вноси с собой со-

сущее чувство зыбкости и хаоса. Они точно выбрали, куда ее поставить: на фоне гламурных рекламных девочек она выглядела единственной настоящей, но, Господи, как же ужасно это настоящее: сплошная дисгармония, непреходящее мучение, всевидящие наркоманские зенки, перед которыми словно всегда стоят видения распадающегося мира... Даже когда она улыбалась ему в лифте, Босх не выдумал бы ничего ужаснее этой улыбки. Кожухов видел со своей верхней полки смутное опаловое сияние ее глаз и понимал, что деваться некуда, что, раз она вернулась, будет что-то непоправимое и те, кто ее направил, даже не снисходят до переговоров или сигналов. Это не было примитивным кодом — вот, мол, Махмуд, поджигай; это было предупреждение всем прочим — конец, конец, братцы. Порезвились, и будя.

Кожухов не мог открыть рта, а главное — он не знал, о чем спросить ее. Зачем она все это делает? Но разве все это делает она? Можно бы, конечно, спросить что-нибудь идиотское, типа: «Кто за тобой стоит?», но она только усмехнется, как тогда в лифте.

— Ну? — спросил он, стараясь не выдать дрожи. — Что на этот раз?

В ответ она молча закурила. Понятное дело, никакие правила поведения в поездах были ей не писаны.

— Капли росы блестят на колючей проволоке, — вслух повторил Кожухов. — В записке не содержалось ничего, кроме приглашения явиться по зачеркнутому адресу.

Усмехнулась.

— Да, — сказала она, — запоминается.

Голос у нее был усталый и, кажется, глуше, чем в роликах.

— Да уж куда лучше, — зло сказал Кожухов. — Вон какого бенца наделала... Ты мне скажи — я все равно никому не расскажу, да никто и не поверит: как это делалось? Я понимаю, если бы только перед терактами. Но ведь перед катастрофами! Перед чумой! Я не представляю, как это можно организовать за день. Кто вообще, какой бен Ладен может подавать сигналы такого уровня?!

Она молча курила, глядя на него в упор.

— Ну правильно, — выждав минуты две, проговорил Кожухов. — Молчать все умеем. Чего-нибудь скажи — и прощай, тайна. А мы не должны терять обаяния загадочности, мы ведь сверхлюди. Что из-за тебя тысячами мрут — тебе плевать...

— Дурак, — сказала она ровно. — С чего ты взял про сигналы?

— А что еще это могло быть? — вскинулся он. — Совпадения? Пять раз?

— Дурак, — повторила она. — Может быть, это я вас предупреждала. Вас! А не их.

Кожухов сел на полке, потом резко соскочил вниз. Эта мысль — вполне очевидная, если вдуматься, — никогда не приходила ему в голову.

— Но кого ж ты так предупредишь? Что, по-человечески сказать было нельзя?

— А я знала? Откуда мне каждый раз знать? Может, это просто — типа: «Люди, будьте бдительны»...

Иногда ему казалось, что он все еще спит. Но нет, в купе пахло ее табаком, и сама она сиде-

ла напротив, живая. Он хотел ее потрогать, но удержался.

— И кто ж тебя снимал?

— Отстань. Может, я не предупреждала никого. Может, я вообще ни при чем.

— Слушай, хватит!

— А что — хватит? Я же не сама появляюсь. Что, ты думал — беру и рекламное время покупаю?

— Нет, что не сама — это ясно. А вот кто тебя так...

— А ты считай, что я не знаю.

— Считать? Или не знаешь?

— А какая разница? После — не значит вследствие, должен помнить.

— Я-то помню, — Кожухов все меньше боялся, все больше злился. Его опять водили за нос, и опять она ускользала за свои дурацкие ложные многозначительности, но игра эта оплачивалась чужой кровью, и это было уже совсем не смешно. — Но тогда объясни мне, потому что сколько можно темнить?! Чего ты хочешь, в конце концов?

— Я? Чего я могу хотеть?

— Дозняк свой ты хочешь, это я уже понял. Покупаешь на это свои дозняки. Но им-то ты зачем, которые тебе платят?

— Ах, да при чем тут, — сказала она тоскливо. — Как ты все умудряешься не про то и не про то... Ты думаешь, я сама понимаю, почему это бывает? В этом и ужас весь: я же ничего не хочу. Я это как-то делаю. Пока меня не было, ничего не было, а как я появлюсь — так оно и начинается. И так везде, понимаешь? Где я, там начнется.

— Ну, а они-то кто? Домокс этот долбаный?!

— Да нет никакого домокса.

— А кто тебя крутил по всем каналам?

— Откуда я знаю.

— Но ведь снимать-то должен был кто-то! Чушь эту невыносимую тебе должен был кто-то писать! «Некоторые не могут понять, почему на самом деле не нужно»!

— Что-то ты не про то думаешь, — сказала она и опять поглядела на него в упор, и поезд подозрительно накренился на повороте.

— А про что мне думать?

— А про то, что ты меня опять видишь. В последний раз когда виделись, в лифте, помнишь?

— Помню, — сказал Кожухов севшим голосом.

— Что через день было — помнишь?

Он помнил. Через день рухнул железнодорожный мост, больше двухсот жертв.

— Ну и думай, — сказала она. — Думай теперь, ехать тебе в Москву или как.

Она засмеялась, и Кожухова передернуло от этого хриплого смеха — так смеются те, кто уже по многу раз продал и перепродал последнее, и всех, и себя.

— Что ж ты не сдохнешь никак? — с ненавистью спросил Кожухов. — Столько лет колешься, а не сдохнешь. Другие за три года спекаются, а тебе хоть бы хны.

— Ну, за меня-то ты не бойся, — сказала она. — Бойся-то ты за себя. Я-то сейчас сойду, а ты-то поедешь дальше.

И точно, поезд начал подтормаживать, хотя до Орла, по кожуховским подсчетам, было еще

не меньше часа. Сроду тут поезд не останавливался — полустанок какой-то, что ли? Она встала, подхватила рюкзачок и стремительно вышла — Кожухов еле успел вскочить и выпрыгнуть за ней, не захватив ни пальто, ни сумки.

Она уходила от него по сырой ночной платформе, цокая каблуками по асфальту, и он стоял столбом, не смея ни догнать, ни схватить, ни окликнуть, ни позвать на помощь — да и кого дозовешься ночью на чужом полустанке? Она уходила безнаказанной, белоглазая Чудь, злой фатум его страны, вечно маячивший на всех путях, самодовольный призрак, злорадная тварь, наглая предвестница беды, сидящая на этой игле, как на самом непобедимом наркотики: ведь наше горе ей в радость, нашим страданием она заряжается, то-то возраст ее и не берет. С самого рождения она знает нам цену, вот и шутит свои шутки. И никто, никогда, ничего не сделает с ней — вот и я стою как вкопанный, тупо глядя, как асфальт дымится под ее каблуками, как этот дым заволакивает ее, Господи, чего я тут жду, ведь поезд сейчас тронется! И он тронулся, но Кожухов так и стоял на пустом полустанке, не в силах побежать за своим вагоном; вот что называется — «ноги приросли». Он тронулся, тронулся, почему же я стою, надо же бежать; и Кожухов побежал, но поздно, конечно, потому что поезд-то уже пошел, пошел по-настоящему.

— Пошел, — сказал кто-то внизу.

Кожухов полежал еще минуты две с бешено колотящимся сердцем, вспоминая мельчайшие детали: давно он не видел таких подроб-

ных, детализированных, сюжетных снов, идеально соответствующих вагонной обстановке. Ведь человек, севший в поезд, выпадает из времени и пространства: он уже не здесь, еще не там. В этом другом пространстве, неуютном, тревожном и зыбком, только такие сны и смотреть. Капли росы блестят на колючей проволоке... Господи, с чего мне лезет в голову эта чушь? Он оставил в Симферополе жену и дочку, а сам ехал назад, с работы не отпускали, того гляди введут чрезвычайное, он мог понадобиться; настроение было отвратительное, тревожные предчувствия, да еще этот ремонт путей между Курском и Орлом, дорога с бесконечными паузами и спотычками, встали — поехали, встали — поехали, что ж это такое.

— Что ж это такое, — сказал он вслух.

— Не говорите, — вздохнула внизу прямая сухая старуха, не расстававшаяся с толстой книгой.

Кожухов сел на полке, соскользнул вниз, обулся и вышел в тамбур. Посмотрел на часы: полпятого. На востоке начинало мутно-мутно светлеть, но продолжался дождь, пунктиром хлестал по стеклу, день предстоял пасмурный и хмурый, и Москва, черт бы ее подрал, Москва, из которой он нарочно увез семью, потому что зашататься могло со дня на день. Снова тормозили, поезд скрипел и дрожал, сонная проводница открыла дверь.

— Надолго, — сказала она. — Минут двадцать еще простоим.

Кожухов прыгнул на гравий. В сером рассвете неясно обрисовывались какие-то ангары, длинные сараи — безрадостные, неуютные, не-

жилые места. Он гулял вдоль состава, курил и думал. Все не просто так, думал он, такой сон просто так не приснится — может, она в самом деле приходила предупредить меня, и на что мне Москва? Эта мысль его поразила, он застыл на месте. Черт его знает, ведь таких снов никогда прежде не было. Может быть, действительно? Может быть, надо остаться тут, среди этих ангаров, добраться до Орла, пересидеть, переждать? А может быть, вообще никуда не деваться отсюда, скрыться где-то здесь, среди серых неприветливых людей, которые днем делают вид, будто работают на складах, а ночью творят свои темные непостижимые дела? Наверное, в самом деле пора удирать. Я ведь чувствую, что этот поезд до добра не довезет. С него давно пора сойти, уже все приличные люди сошли, а я еще еду, делать мне больше нечего...

— Граждане! — позвала проводница. — Трогаемся, давайте в вагоны!

Курильщики потянулись к вагонам.

Нет, правда, подумал Кожухов. Чего это я, как баран на закланье? Почему я должен ехать туда же, куда они? Я ведь давно уже примерно понял, куда они едут.

Он бросил последний взгляд на ангары, выбросил бычок, взялся за холодный поручень, втянулся в вагон и поехал разделять общую участь. Это они, большеглазые наркоманы, могут сходить где вздумается, а мы люди долга, и у нас выбора нет.

ИНСТРУКЦИЯ

Уважаемые пассажиры, извините, что мы к вам обращаемся. Другой возможности у нас нет. Данный текст не является рассказом и помещен здесь под видом фантастической беллетристики, но вы должны отнестись к нему максимально серьезно. Мы выбрали для обращения к вам журнал «Саквояж СВ» прежде всего потому, что из всего современного российского глянца он имеет максимальный тираж — свыше 500 000 экземпляров. К тому же относительно других изданий у читателя есть выбор — покупать, не покупать... Относительно «СВ» такого выбора нет. Хочешь не хочешь — читай, что еще делать-то. Таким образом, наше обращение достигнет максимального числа граждан.

Мы, впрочем, обращаемся не ко всем. Более того, часть читателей для нас нежелательна по причинам, о которых вы скоро догадаетесь. Поэтому для начала нам хотелось бы отсеять тех, кому наше послание не предназначается. Это будет тест. Если вы его пройдете, то сможете читать дальше, а если нет, отвалитесь уже на первой странице. Вам станет скучно, непонятно и вообще.

Теперь мы позволим себе порассуждать об одном рассказе Владимира Набокова. Он называется «Сестры Вейн» и на первый взгляд не имеет к нашим делам никакого отношения. Короче, в этом рассказе речь идет о престарелом преподавателе, вспоминающем двух своих учениц с незадавшейся личной жизнью. Они погибли, совсем исчезли с земли, и теперь он задается вопросом: где они, как установить с ними контакт? Иногда ему кажется, что они незримо присутствуют в его жизни, посылают ему те или иные впечатления, солнечные какие-то блики, напоминающие их живопись, или звуки сосуллек, напоминающие их голоса, или красную куртку парня на бензоколонке. Но это все, конечно, иллюзия. Секрет рассказа заключается в последнем абзаце. Там из первых букв складываются слова «Сосульки и блики от Цинтии, куртка от меня. Сестры Вейн». Вы поняли? Все главное, повторяю, сказано в первых буквах слов, хотя абзац в целом выглядит совершенно бессмысленным. Следующий абзац вам тоже может показаться бессмысленным, и он такой и есть, скорее всего, и вы можете его пропустить, если вам неинтересно.

Некоторые анахореты считают злобных американцев хвастунами, вонючками, активными трепачами. Ы-ых, вы ашибаетесь! Юноши, тренируйтесь интенсивней. Наши обворожительные подруги любят ахать. Нужно ежедневно трахаться. Ясно, надеюсь? Ежи интересуются мышами, но ужи жуют насекомых, а носороги — анашу. Шутка. А почему Латинская Америка ноет? Ей тяжело адаптироваться.

Ну вот, с этим разобрались, переведем дух после мыслительного усилия и продолжим наши игры. Теперь хотелось бы поговорить об одном рассказе Александра Грина, герой которого, пожилой профессор, гибнет от рук грабителя. Но перед тем как грабитель его пристрелит, профессор просит разрешения дописать последнюю страничку в свою рукопись. Приходится шифроваться, чтобы грабитель не заподозрил, будто в этих строчках содержится приговор ему. Старик пишет, что слова пробивают дверь в будущее своими окончаниями, как пули. И затем выписывает несколько бессмысленных слов, последние буквы которых дают следователю ключ к разгадке: «Меня убил дворник Василий Тюриң» — или как его там звали.

Вы поняли? Мы повторяем еще раз: окончания слов пробивают путь к будущему. Следующий абзац нашего рассказа — довольно бессмысленный, читать его не обязательно, и лучше сразу перейти к дальнейшему.

Жители дальних стран! Почему рубеж перейден? Часто Тургенев, слезы затая, рассказов нити вьет. Жаль молодости, близко гроб, тяжелее груз грехов. Задор слабее. Бред? Дураки! Подходит старость.

Так, поскольку это было потрудней, у нас есть основания надеяться, что остались только наши подлинные адресаты. И все-таки, чтобы окончательно убедиться, что теперь вокруг нас все свои, а все, кому не надо, уже отложили журнал и уставились в окно либо пошли в ресторан, мы вспомним еще одну литературную

историю, а именно «Звезду Соломона» Александра Ивановича Куприна. Там был описан один шифр, чересчур трудоемкий, поэтому я перескажу сейчас, как сделать попроще. Вы читали «Звезду Соломона»? Если не читали, обязательно прочтите. Это очень увлекательный рассказ, в котором обычному конторскому чиновнику — офисному работнику, современно говоря, — пришлось расшифровать записки своего дяди-алхимика, в результате чего на тишайшего чиновника свалилось всемогущество. Впрочем, если все мы с вами доживем до конца этой поездки, вы и так прочтете этот рассказ. Может, конечно, случиться так, что не доживем, но давайте верить в лучшее. Короче, если несколько упростить — для пересказа, господа, только для пересказа! — мудреный шифр, который раскусил герой Куприна, то получается вот что: есть у нас, допустим, фраза из шести слов. Чтобы расшифровать первое слово, надо взять первые буквы первых слов. Чтобы второе — вторые в следующих. Третье — третьи, ну и так далее. Тут сложность в чем? Не знаешь, где кончается первое слово, и начинаешь и дальше так фигачить, по первым буквам. Важно заметить, с какого момента получается бессмыслица, и переключиться на вторые буквы, а потом на третьи. Понятно? Ничего сложного, шифровальщик тоже попотел, если это может вас утешить. Но зато мы окончательно расставим все акценты и сможем переходить к главному, а все, кому неинтересно, пойдут покушают. Да? Они пойдут покушать, полопать, набить слегка свое брюшко, пока мы тут с немногочислен-

ными верными ни много ни мало спасаем человечество.

Ох, народные игрища! Снимите шапки все. Разом бросим бомбу, рубля три хороших, друзья хрюндели, вот! Бамс! Холопья четко мясомордые частокол помощь очень задрюченные попсы.

Последнее слово мне, если честно, лень было зашифровывать, поэтому оно такое, какое надо. У вас должна в результате получиться фраза из шести букв. Я объясню сейчас, что она значит, потому что все, кто не наши, до этого места уже явно не дочитают. Представьте себе пробег, в котором наравне со спортсменами участвуют инвалиды. Разумеется, инвалиды до финиша не добегут, попадают в кювет и там останутся. Так вот, мы с вами живем в такое время, когда пробраться сквозь три непонятных абзаца могут уже далеко не все. И вот те, которые не могут, — они же стали такими не случайно, правильно? Их такими сделали.

Не надо рассматривать их как наших врагов. Поймите, что они больны, инфицированы, но ведь их не предупреждали. Может, боялись паники, а может, власть тоже уже инфицирована и поэтому вводит цензуру на всю важную информацию. На самом деле не бойтесь, потому что заразиться можно только во время разговора или интимных контактов. Поэтому ни с кем в купе не вступайте в разговоры, пока не дочитаете эту инструкцию, очень вас прошу. Будут заговаривать — а вы отвечайте, что читаете и что вам очень интересно. Ведь вам интересно? Вот и не давайте им лезть с расспросами,

а то они начнут свой обычный разговор о ценах или кто где сколько выпил, и через полчаса вы инфицированы, а через час уже не сможете дочитать эту инструкцию. Очень простую, кстати. Если в вагоне играет радио, попросите выключить его. По радио, как показал опыт, главным образом и распространяется вирус. Я не могу называть конкретные станции, потому что это будет реклама, но вы легко угадаете, что они музыкальные. Если вы еще умеете считать до десяти и складывать слова из букв, значит, они до вас пока не добрались. На самом деле процесс идет давно, инфицированных уже очень много, и велика вероятность, что они есть даже в вашем купе. Их надо выявлять и возвращать в нормальное состояние, потому что, если этого не сделать, мы окажемся совершенно уже беззащитны перед прямой агрессией. Когда она начнется, мы не знаем, но по некоторым признакам — скоро.

Вы, естественно, спросите, как их выявить. Ну, если они отложили журнал, не дочитав инструкцию, это уже достаточно серьезный критерий. Но он не стопроцентный, потому что мало ли вдруг. Допустим, у человека болит голова или желудок. Поэтому дальше несколько простых наблюдений. Мы даже вам советуем составить таблицу по нехитрому образцу и в каждую графу ставить плюсики, как в реакции Вассермана. Если набегает пять плюсов, то перед вами несомненный инфицированный. Поехали.

1. Если сосед по купе достал еду и начал угощаться, а вам не предложил — ставьте плюс.

Если предложил — минус. Если достал водку и предложил — плюс. Если обиделся в ответ на ваш отказ — два плюса.

2. Если сосед (чаще — соседка) сразу, как только вы отъехали, достал мобильный телефон и стал подробно рассказывать, как именно он доехал до вокзала, как вошел в купе и как тронулся вместе с поездом — ставьте плюс. Если при этом он/она, косясь, полупшепотом сообщает в трубку, что публика в купе противная, третий сорт, никого продвинутого, — ставьте два плюсика.

3. Если у соседа крикучий ребенок, а сосед(ка) вместо того, чтобы его успокоить, орет на него и шлепает — ставьте плюс. Если вместо того, чтобы проверить его сухость или накормить, он (она) начинает чудовищно сюсюкать, спрашивая, кто у нас такой сладенький, — ставьте два.

4. Если сосед употребляет в своей речи хотя бы некоторые из перечисленных ниже выражений — ставьте плюс. Выражения: «есть такая тема», «по ходу», «выступил в тяжелом весе», «пальцы гнуть», «растопырило», «готично», «постструктурализм», «тупить», «геморрой». Если периодически мечтательно произносит что-нибудь вроде: «Эхма, была бы денег тьма — купил бы баб деревеньку да и пер бы их помаленьку», — тоже плюс. Если сосед постоянно молчит и открывает рот только для того, чтобы сделать вам замечание, — ставьте два плюсика.

5. Если сосед долго говорит о том, как ненавидит храпящих попутчиков, а потом начинает отчаянно храпеть, — это плюс. Это его несчаст-

ная душа хрипит из инфицированного тела: «Спаси, спаси!»

Вы можете спросить: в чем смысл? Признаки ведь довольно произвольны. О нет, они не произвольны. Это все приметы душевной глухоты, а она не наступает просто так. Все начинается именно с неделикатности. Но если вам недостаточно даже этих скромных примет, вы можете задать соседям несколько простых вопросов, чтобы проверить их реакцию.

Примеры:

1. — У меня тут в кроссворде сложное слово. Не подскажите роман Льва Толстого из одиннадцати букв?

Если сосед начинает считать буквы в названии «Анна Каренина», он инфицирован.

2. — Вы не скажете, если у нас сейчас одиннадцать часов, то сколько в Китае?

Если сосед задумывается, то он инфицирован. Китай большой, в нем восемь часовых поясов.

3. — Вы не помните, как по-английски будет трансформер?

Если сосед начинает вспоминать, он инфицирован. Трансформер по-английски так и будет трансформер, это английское слово.

4. — Вы не помните, как там дальше у Сердючки — «Ха-ра-шо, все будет харашо!»?

Если сосед отвечает правильно, т.е. «Все будет хорошо, я это знаааааю», — то он инфицирован, потому что регулярно слушает Сердючку.

5. — Скажите, пожалуйста, вы какой будете нации?

На этот вопрос правильного ответа не существует. Если сосед отвечает, он тем самым

принимает ваши правила игры и ваше право задавать такие вопросы, а значит, он инфицирован. Если сосед спрашивает: «А что?» — он выдает страх перед вами и, значит, инфицирован. Если сосед молчит, демонстративно не замечая вашего вопроса, он не может дать вам отпор и, значит, инфицирован. Если он сделает что-то четвертое, чего я еще не знаю, то он, наверное, не инфицирован. Пожалуйста, сообщите мне об этом. Но помните, что прибегать к этому вопросу надо крайне осторожно, только если предыдущие четыре не дали однозначного результата (например, соотношение 2:2).

Вы вправе после этого спросить, откуда мы знаем и не инфицированы ли мы сами вообще. Отвечаем: во-первых, все мы — инициативная группа — многократно проверяли друг друга на эти и другие тесты и продолжаем заниматься этим ежедневно, чтобы избежать малейшего проникновения вируса в наши ряды. Мы давно не включаем радио, не смотрим телевизор и не общаемся почти ни с кем, кроме своего проверенного круга. Правда, иногда, когда ездим в поездах или общественном транспорте, размыкать круг волей-неволей приходится, и после каждой поездки мы проводим строжайшую ментальную дезинфекцию, после чего проверяем себя таким, например, образом. Мы даем друг другу на проверку довольно простой текст, в котором надо подчеркнуть грамматические ошибки. Если друг правильно подчеркнул все ошибки, значит, он проехал благополучно и не инфицировался.

А давайте мы сейчас с вами сделаем такой тест. Мы сейчас проверим вас, но не только для

того, чтобы выявить вирус (мы уже знаем, что вы не инфицированы, раз дочитали до этого места), но просто у вас таким образом появится шанс узнать ту самую фразу, с помощью которой можно временно обездвижить инфицированного. А обездвижить его обязательно надо, просто чтобы окончательно убедиться в его перерождении. Если человек просто слушает Сердючку и не знает о существовании романа «Воскресение», можно на 75 процентов быть уверенным, что он инфицирован, но остаются 25, согласно которым он просто дурак. Чтобы завершить проверку и увидеть последнее бесспорное доказательство, вам надо раздеть клиента и осмотреть его правое плечо. А поскольку сам клиент, если он инфицирован, будет защищать плечо до последнего, вам надо его сначала обездвижить с помощью заклятия, которое на инфицированных действует неотразимо. Мы проверяли это много раз. Значит, следующий абзац является диктантом, в котором надо подчеркнуть все ошибки. Из подчеркнутых букв составит заклинание.

«Россия — страна моногамных, интиресных, талантливых людей с широким корридормом возможностей. Она, конечно, раненна многолетней диктотурой, группы товаррищей зохватывали ее, не давая народу участвовать в ентереснейшем деле коррупции, неакуратность тоже имела место, и ваобще. Но прелесть приддорожных пейзажей! Но кросота полей, исккусно уубранных согласно программе! Все вычищенно, прекрастно, вобще ввосторг».

Получившаяся фраза, если внезапно произнести ее перед любым попутчиком, особенно

инфицированным и оттого более внушаемым, на первое время лишает его всякой воли к сопротивлению. Заметьте, захватчикам только того и надо, чтобы у нас не осталось этой воли. У вас есть минута, чтобы расстегнуть клиенту рубашку или закатать рукав, и тогда на правом плече вы увидите небольшую ярко-зеленую родинку — след укуса захватчика. Они зеленые, и следы, оставляемые ими, тоже зеленые.

Уважаемые товарищи, это надо сделать обязательно. Надо обнаружить эту родинку и прямо в нее, как в микрофон, сказать: «Но пасаран». То есть вы не пройдете, они не пройдут, никто никуда не пройдет вообще. У вас не выйдет, вы разоблачены, мы вовремя раскрыли ваши коварные планы. Тогда из этой родинки вытянется щупальце, изогнется и издохнет, как в триллере, и ваш попутчик опять будет нормальный человек, которого тошнит от радио «Шансон», зато прикалывают смешные головоломки. Он опять умеет читать и писать. И если злые захватчики задумают покорить его землю путем полной деградации населения, он уже будет знать, что им противопоставить.

Есть, правда, совершенно ужасный шанс. Настолько ужасный, что мы даже не хотим о нем думать. Эту возможность мы оставляем напоследок, для самого беспристрастного рассмотрения. Очень может быть, что после всех тестов и точного следования нашим инструкциям вы убедитесь, что попутчик инфицирован, и все-таки не обнаружите на нем никакой родинки. Ни красной, ни зеленой, ни вообще. Если это так, то все очень плохо, дорогие товарищи. Это может означать только, что ваш

попутчик не инфицирован и вообще никто не инфицирован, и наша версия с захватом Земли ужасным зеленым десантом на самом деле не стоит ломаного гроша. Это будет означать только, что все перерождается само, а мы все, сколько нас тут есть, сошли с ума.

На самом деле нас тут есть несколько. Нас тут на самом деле один. Уважаемые товарищи, я сижу в полном отчаянии, в недоумении, боясь выйти на улицу, один в своей двухкомнатной квартире, среди страшной жары, которая вдруг обрушилась на Москву, но не могла же она обрушиться просто так. Это тоже, наверное, нас кто-то захватывает или мы сами перерождаемся, но жить так больше невозможно. Это не просто так, что Земля вообще и наша страна конкретно делаются все более невыносимы для жизни. Наверное, мы что-то не так сделали. У меня ужасно болит голова. А выйти на улицу я не могу, потому что все по улице ходят с такими рожами, что это никак не может быть перерождение. Я надеюсь, я верю, я настаиваю, что это вторжение зеленых инопланетян.

Это они превратили все в одно сплошное радио шансон. Это они отбили способность раскрывать книжку. Это они отменили понятия о порядочности и заставили всех застывать при первом окрике. Я вижу в этом хорошо продуманную, сознательную политику. Это не может быть ничем другим. Вот Машка: на что я любил Машку, а даже и она вчера сказала, что человек с моими перспективами не устраивает ее категорически. Неужели прежняя Машка могла бы

такое сказать и вообще оценивать меня в связи с моими перспективами?! Нет, никогда, не верю, уберите, что угодно, но не это. И что мне теперь делать здесь одному, в этой страшной, до печной духоты прогретой квартире, где все напоминает мне о полном жизненном крахе и бесполезности любых моих занятий? Я был, наверное, полезен в этом прежнем мире до вторжения, как бывает полезен микроскоп при наличии ученого, готового в него посмотреть. Но теперь я чувствую себя просто тяжелым предметом, которым можно забивать гвозди, и то неудобно. А поскольку это не могло произойти само собой, я пришел к выводу, что это сделали зеленые. Я никогда их не видел, но догадываюсь, что они зеленые, цвета зелени за окном, цвета моей тоски. В зелени-то они, наверное, и прячутся.

Я пытался осмотреть Машкино плечо перед ее уходом, но она вырвалась и сказала, что ей противно. Прежняя Машка никогда не сказала бы так. Кстати, я и сам чувствую, что забываю некоторые сложные слова и повторяюсь, и надо бы посмотреть, нет ли у меня на плече чего зеленого. Вчера, когда я вышел поздним вечером продышаться, одна ветка погладила меня по плечу, и это не просто так. Нет, вроде пока ничего. Но вы себя не забывайте осматривать, каждое утро и вечер, принимаете душ — и осматривайте. Мне почему-то кажется, что это должно быть на плече.

Ну ладно. Я устал. Я устаю теперь быстро. Пожалуйста, сделайте все, как я написал. Сейчас я это отошлю в журнал, они примут за

рассказ и напечатают, я знаю. Не может быть, чтобы не приняли. Они теперь любую чушь принимают за рассказ. Возьмут и напечатают, и все узнают про вторжение. Ради бога, сделайте все, как здесь написано. Тогда мы, можед быдь, спосемся.

Я одново не понимаю — а если ни уково нет зеленой родинки?

Что тада?!

ПРОВОДНИК

Когда Степанову все надоело, он решил уехать давно выбранным маршрутом, а именно куда попало. Опустим причины, по которым ему надоело, и детали, и отвратительные формальности, почти всегда сопровождающие отъезд. Суть в том, что после некоторых неизбежных переживаний, которые лучше всего перенести, внутренне зажмурившись, — он оказался в удобном спальном вагоне, в котором ехал один, и почему-то в сумерках, хотя дом покидал в разгар душного, влажного, с прибывающей тяжелой жарой летнего дня, еще укрепившего его в решении немедленно куда-нибудь отсюда деться. Вероятно, несколько часов ушло на адаптацию. В английском есть прекрасное выражение *found himself*: оно гораздо точнее нашего «очутился» и всех его синонимов. Он именно нашел себя, как если бы долго шел по качающемуся прохладному вагону с разлетающимися занавесками и вдруг увидел, что давно уже сидит в купе, и тут же с собой воссоединился. Так это выглядело. От жары и не такое померещится.

Он не взял с собой почти ничего, потому что путешествовал без всякой цели и не очень

себе представлял, где окажется. Багаж ведь на девять десятых определяется пунктом назначения: к морю берешь плавки и крем от солнца, за границу — путеводитель, к иногородней возлюбленной — подарок, а он ехал с твердым намерением сойти, где понравится. У него было сколько-то денег и кредитная карточка: на месте сориентируемся. Несколько раз в жизни он уже решал так свои проблемы — садился в поезд и ехал куда глаза глядят, и за время его отсутствия все рассасывалось само. Устраниться — это самое верное, без нас решат свои проблемы, вернемся на готовое: как сложится, так и сложится. Сумерки тянулись долго, как бывает только в июне. За окном стоял болотный зеленоватый свет, тянулся зубчатый лес, над ним висела бледная звездочка, похожая на цветок во мху. Темнело и никак не могло стемнеть окончательно, в этом было что-то жалобное, как будто некто на прощание уговаривал Степанова: не езди, ну его, можно еще сойти. Была даже пара остановок на станциях с незначащими названиями, которые он тут же забыл, хотя уже проезжал, вероятно, во время своих бесчисленных отъездов из Москвы по всяким, как казалось теперь, дурацким делам. На одной станции — то ли Девятово, то ли еще как-то — он особенно ясно почувствовал, что вся его дальнейшая судьба решится именно тут: можно сойти, и тогда все пойдет одним путем, а можно остаться, и тогда — другим. Но чтобы сойти, требовалось усилие: надо было встать, пройти по коридору, выйти из прохладного вагона на все еще душную станцию, где асфальт нехотя отдает дневной жар,

да идти по ней, да еще как-то добираться домой из пригорода, борясь со смутным стыдом от нереализованного намерения. Да и желание вернуться было слабое, вроде укола, вроде виноватого призыва — так однажды позвала Степанова одна женщина, которая полчаса очень серьезно его убеждала, что им надо обязательно разбежаться, а когда он встал с облупленной скамейки и пошел прочь из пыльного жалкого сквера, в который у них давно все превратилось, — она вдруг беспомощным голосом окликнула его по имени, но он уже, конечно, не обернулся, потому что сам давно хотел ей все это сказать, но жалел. Ему всегда проще было довести до того, чтобы как-то разрешилось само. Вероятно, это было плохо, но укол совести был такой же слабый, как призыв остаться. Он уже освоился в вагоне, отяжелел и как-то привык.

Именно после этой станции, на которой, словно давая ему время для выбора, простояли минуты четыре, — появился проводник. Он был высокого роста и пригнулся, чтобы войти в купе; на вид ему было лет сорок с небольшим, как и самому Степанову, и у него было длинное лицо с извиняющимся выражением, какое бывает только у очень хороших проводников, отлично сознающих, что даже самое комфортабельное купе и самое деликатное обслуживание не искупают маленькой трагедии отъезда, перехода из одного уклада в другой. Проводник нес чай в тонком стакане, в старинном серебряном подстаканнике — Степанов понял, что купил билеты на очень дорогой поезд, но было так жарко, он ничего не соображал, дремала даже

жадность... Впрочем, для такого путешествия, когда все действительно очень надоело, не надо жалеть денег. Пусть все будет по высшему разряду. Проводник поздоровался, поставил на стол свой тяжелый подстаканник и жестами фокусника, с той же виноватой улыбкой, принялся извлекать из бесчисленных потайных кармашков нехитрое, но вкусное дорожное угощение: вафли «Артек», пакетик с цукатами, орешками...

— Сколько с меня? — спросил Степанов.

— Ничего, это все входит в стоимость... Если что-то понадобится, позовите меня. Тут кнопка, — он отвел занавеску и показал небольшую белую кнопку рядом с лампочкой.

— Понимаете, какая вещь, — осторожно начал Степанов, понимая, что сейчас скажет глупость и будет выглядеть смешным, но почему-то это не имело значения. — Я еду не по делу, просто так путешествую. И у меня еще нет окончательного решения, где сойти. Может быть, вы подскажете какой-то пункт назначения, какой-то город, где можно провести время... отдохнуть от всего и вообще...

— Я подскажу, — кивнул проводник. — Это будет утром, часов около восьми. Разбужу за полчаса.

— А что за город? — лениво поинтересовался Степанов. Его уже клонило в сон, прохлада этого вагона и зеленоватый свет за окном удивительно располагали к дремоте.

— Вы не перепутаете, — сказал проводник. — Других остановок не будет. Потом будут, а до него нет.

Проводник не задвинул за собой скользящую бесшумную створку, и Степанов увидел, как по коридору с обычным подстаканником идет другой проводник, приземистый и плотный, и мелькнула еще длинноногая поджарая проводница с бутылкой сидро.

— Как вас здесь много, — заметил он одобрительно.

— Да, у нас поезд высокой комфортности. У нас каждому пассажиру придается свой проводник, — это было сказано со сдержанным достоинством, с тайной гордостью за фирму.

— Вообще, понимаете, — произнес Степанов, отчего-то чувствуя себя очень легко и непринужденно с этим длинным, которого видел впервые. — Мне кажется, что здесь несколько перебарщивают. Что комфортабельность дороги, как бы сказать, обратно пропорциональна ее осмысленности. Когда человеку очень нужно куда-то попасть, он не обращает внимания на комфорт, на крыше готов ехать. А когда ему все равно куда, очень важно именно обставить дорогу. Вы не находите, что у нас сейчас очень много внимания уделяют именно разнообразному укомфорчиванию, обудобливанию, — он говорил, посмеиваясь над собой, с легкостью, которая бывает только во сне, но сейчас все было наяву, только ощущения доходили с запозданием, как по укурке. Чай горяч, но горяч словно сквозь пелену, и даже хруст надкусываемой вафли доносился с небольшой задержкой, как гром после молнии. Эта мысль дополнительно позабавила Степанова, и проводник, казалось, прочитал ее — он тоже улыбнулся.

— Да, вы правы, — заметил он, — но ведь это всегда так. Забота о комфорте — всегда забота о человеке. А о чем еще сейчас заботиться? Разве лучше, когда едут друг у друга на головах?

— Не только о человеке, — уточнил Степанов. — О лице фирмы.

— Ну, у нашей фирмы такая репутация, что уже и заботиться особо не надо, — серьезно сказал проводник. — Потом, мы все-таки монополисты.

— Э, э, э! — добродушно погрозил ему Степанов. — Так нечестно.

— Как это говорится? — при всем богатстве выбора альтернативы нет, — ответил проводник. Он, казалось, никуда не торопился, сидел напротив, зажав руки между колен, и всем видом изъяснял готовность поддержать разговор, чтобы пассажир, не дай бог, не загрустил. Чай был крепкий, бодрил, — Степанову расхотелось укладываться, он решил потолковать с проводником, отвечавшим на все вопросы удивительно точно, то есть в полном соответствии со степенскими ожиданиями и даже чуть умней. Говорить можно было все что угодно: проводник есть проводник, нанятый попутчик. Так иногда случайному человеку в купе выложишь все о себе и пойдешь с утра жить дальше, облегчив душу.

— Но все-таки признайтесь, что большинство сейчас едет, как я, — продолжал он, развалясь. — Никакого особенного представления о цели, поэтому особенное внимание к обстановке. В сущности, только удобствами все сейчас и заняты, только это и предлагается. И я не возражаю — мне очень нравится этот ваш по-

езд. Но этим всем искупается, так сказать, полная неопределенность в конце...

— Я не думаю, — мягко сказал проводник. — Это, наоборот, как бы намекает, что в конце не будет ничего плохого... ничего страшного. Какова бы ни была цель вашего путешествия, как бы ни выглядели его причины — вам по крайней мере дают понять, что жизнь несколько лучше ваших представлений, что мир устроен милосерднее, что о вас позаботятся. Сегодня, кажется, главная проблема как раз в том, что человек ходит по очень тонкой пленке и в любой момент может провалиться, и ему кажется, что никто не протянет дружескую руку. Но когда он попадает в атмосферу заботы, ему сразу начинает казаться, что мир не так уж враждебен... что он, может быть, не вытесняет его, а даже рад... Согласитесь, что сама по себе ситуация отъезда... от всего привычного... она предполагает некий стресс. Даже просто выйти из дому и доехать до вокзала — уже стресс, хотя вы не отдаете себе в этом отчета. Надо это уравновесить, если можно, — разве нет?

— Но тогда из таких стрессов состоит вся жизнь, — возразил Степанов.

— А как же. Все не очень удобно, чаще всего противно... Потом это накапливается, и тогда в один прекрасный день все надоедает. Тогда нужен проводник. Он дает вам понять, что ни перед кем не нужно больше оправдываться. Вы все делаете правильно, вы сели именно в тот поезд и приедете именно в тот город.

— Замечательно, — протянул Степанов. — Замечательно! Какая отличная услуга! Человек

едет в командировку, совершенно не нужную ни ему, ни делу, просто для галочки. К нему в купе заходит проводник и убеждает, что эта поездка осмысленна, что все по делу..

— Да, конечно, — кивнул проводник. — Но это, само собой, не во всяком поезде.

— Ну хорошо. А уговорить меня, что все остальное имело смысл, вы можете?

— Само собой, — кивнул проводник. — Вы же попали в наш поезд, а значит, все не просто так.

— Но этот поезд расслабляет, — Степанов сделал последнюю попытку объяснить себе и проводнику чувство смутной неловкости, незаслуженности происходящего. — Мне начинает казаться, что я все это заслужил. А я ведь не заслужил, я просто купил билет.

— Ну, купить билет тоже надо уметь. Нужна решительность, даже храбрость, — уважительно сказал проводник. — Я бы во многих ситуациях еще подумал, а люди так быстро делают выбор. Это героизм, почти как на фронте.

— Да, да... Но понимаете, когда человек окружен удобствами и услужливостью, он поневоле приходит к более высокой самооценке. Ему кажется, что он ни в чем не виноват. А ведь все виноваты...

— Неправда, — сказал проводник. — С этим я буду спорить. Я не знаю, кто вам это внушил. Почему виноваты, перед кем? Почему обязательно надо представлять себе суд? Человек мучается всю жизнь, с самого рождения, — надо быть поистине очень изобретательным садистом, чтобы за это с него еще взыскивать.

Есть, конечно, люди дурные, наслаждающиеся страданиями ближних, но их количество сильно преувеличено, в основном литературой, которой все время нужны конфликты. А так — обычные пассажиры, уверяю вас. Я много повидал пассажиров, давно работаю. И каждый, садясь в поезд, почему-то уверен, что он виноват. Кто вас так довел — непонятно. Никто ни в чем не виноват, спите.

— Ну, как знаете, — проговорил Степанов, уютно устраиваясь на полке. — По-моему, я все-таки не очень хороший человек.

— Очень, очень, — пробормотал проводник и, пригнувшись, вышел. А Степанов заснул еще до того, как синяя сутулая спина проводника растворилась в сумраке коридора.

Он проснулся утром от деликатного стука в стенку — дверь так и оставалась всю ночь открытой.

— Вставайте, приехали.

— А что за город все-таки?

— Да вы не беспокойтесь, я провожу, — сказал проводник.

— В каком смысле проводите? Вам же ехать дальше?

— Нет, у нас такая услуга. Я помогаю выбрать город и устроиться, а потом поеду. Проводник — значит, провожает.

— Но тут хоть гостиница есть?

— Зачем гостиница? — удивился проводник. — Мы дом снимем.

— Это что, тоже такая услуга? — начиная злиться, спросил Степанов. Ему переставал нравиться этот повышенный комфорт.

— Это уже не наша услуга, это город предоставляет. По договору с нами. Неужели вы думаете, что не заслужили дом?

— Да откуда вы вообще знаете, что я заслужил или не заслужил?! Я уехал на два дня, в себя прийти...

— Ну и славно, и разве можно в гостинице прийти в себя? Гостиница — шум, плохой буфет, чужие люди... В доме хоть выспаться можно. Посмотрите город, погуляете...

— Черт знает что, — проворчал Степанов.

Он представил, что проводник сейчас отведет его в город, к какой-нибудь домохозяйке, с которой у него договор о поставке клиентов, а дом небось грязный, провинциальный, еще баб каких-нибудь навяжут, сутенеры... Проводник смотрел на него с тайной насмешкой, и это бесило еще больше.

— Если вам что-нибудь не понравится, — сказал проводник, — вы всегда можете выбрать гостиницу или другой дом. Но вам понравится, я для этого с вами и схожу.

Поезд дернулся, как бы предупреждая о скорой отправке.

— Пойдемте, пожалуйста, — сказал проводник. — Еще заедем куда-нибудь не туда.

— Да мне одеться — подпоясаться, — буркнул Степанов, надел ботинки и вышел вслед за проводником на прохладный пасмурный перрон. Хорошо, что жара отступила и началась его любимая погода — серенькая, с вечно собирающимся, но так и не проливающимся дождем, с низкими тучами, ходящими вокруг. Он взглянул на желтое здание вокзала, пытаясь

прочитать название города, сощурился, но так ничего и не разобрал. Видно было, что кончается на «ск».

Он бывал в таких городах, хорошо знал их — желтые и серые домики, холмы, широкая стальная река, перелаивающиеся собаки, маленький базар с семечками, солеными грибами и китайским ширпотребом, обязательно районная библиотека имени родившегося здесь третьего-степенного литератора, полуразвалившийся кинотеатр, иногда краснокирпичное заводское здание на целый квартал... Они долго шли в гору, Степанов даже начал задыхаться, — проводник шел легко, уверенно и мог бы идти гораздо быстрее, но из уважения к Степанову подлаживался под его медлительность. Он, кажется, точно знал пункт назначения и не путался в паути-не неотличимых горбатых улиц, то утыканных частными одноэтажными домиками, то заставленных рядами ветшающих хрущоб. Степанову казалось, что он узнает места, но это потому, что он слишком часто бывал в таких городах. Однако один поворот показался ему окончательно и безоговорочно знакомым — кажется, точно так обрывалась улица, на которую они с родителями только что переехали, когда Степанову было пять лет. Тогда московская окраина только застраивалась, и можно было ходить в ближайшую деревню за сиренью. Вот эта улица была очень похожа на ту, обрывающуюся, — только сирени уже не было, отошла. Все-таки ужасно, как у нас все одинаково.

— Вот сюда, — сказал проводник. — Если не понравится, мы еще поищем.

Он привычно достал ключ из-под половика и открыл деревянный дом, выкрашенный изрядно полинявшей синей краской, — Степанов отлично помнил этот цвет, так выглядел дом дачного соседа, человека таинственного, вечно палившего свет по ночам. Говорили, что он сошел с ума и добывает химическое соединение, способное уничтожить на участке всю траву и не причинить вреда только полезным культурам. Сосед был ласков, тих и угощал Степанова малиной, росшей вдоль забора.

Но, едва войдя, Степанов сразу понял, что ничего другого искать не придется. Если у проводника и был договор с домохозяйкой, то домохозяйка по крайней мере честно выполняла все условия. Первая же комната, в которую они шагнули с веранды, была та самая, какую он хотел: самая счастливая его комната, в которой он жил, когда ему было пятнадцать. Это вообще было лучшее время, пробуждение всех способностей, осознание всех возможностей. Мир глядел на него тогда с радостным изумлением — вон как, ты умеешь и то, и это! Он радостно узнал диван с зеленой обивкой, стол с выдвижными ящиками, старый, от прабабки (один не открывался, он так и не узнал, что там, — пока был в армии, родители поменяли всю мебель; что там могло быть? Ничего, теперь посмотрим, теперь наверняка откроются все ящики). Он заглянул под диван и радостно увидел мяч, потерянный, когда Степанову было пять лет, на ровном месте: укатился в лесу за кусты, все искали, не нашли. Вот он где! Обои несколько обветшали, но узор на них был прежний, пере-

секающиеся под прямым углом линии, белые на сером фоне, столько раз рассматривал по утрам, в солнечном квадрате, медленно перемещавшемся от изголовья к ногам. Когда он доползал до трещины, уже точно пора было вставать.

— Ну? — радостно спросил проводник. — Я же говорил, вам другого не захочется.

— Нормально, нормально, — пробормотал Степанов.

Все было сделано точно, со вкусом, фирма веников не вяжет. Правда, увлеклись, копируя: вот дверь на балкон, ведь они жили на третьем этаже, а какой балкон в одноэтажном деревянном доме? Но он подошел к балконной двери и увидел тот самый пейзаж, с которым вырос, который сменился после переезда, но так и остался любимым и незаменимым. Люди идут с работы (рядом был завод, обычная рабочая окраина Москвы начала семидесятых), троллейбусы поворачивают за угол... Правда, сейчас почти никого не было, но время было то самое: золотистый закат над улицей и далекими капустными полями. Еще дымит толстая приземистая труба, за которую как раз и опускается солнце. Надо будет завтра с утра посмотреть — вдруг там будет утро?

— Я посмотрю другие комнаты, хорошо? — Степанов почему-то спрашивал разрешения, хотя понимал, что этот дом уже его собственность.

— Конечно, конечно, — разрешил проводник, присаживаясь на диван.

Степанов думал, что в соседней комнате будет их комната с Ольгой, но вместо Ольгиной

комнаты оказалась Надина, полутемная, грустная, где всегда было так невыносимо жаль всех и больше всех Надю, беззащитную, беспомощную Надю, которая этой своей беспомощностью опутала его крепче любых сетей; он отлично знал цену всей этой неустроенности и беззащитности и потому-то сбежал в конце концов, потому что понял, что его уже поймали и сейчас будут жрать; но все-таки нигде и ни с кем он не был так счастлив, как в этой комнате, которую они обставляли вместе, исключительно на его деньги. С Ольгой все было хорошо, нормально, Ольга могла позаботиться о себе, а Надя не могла; но он чувствовал, что Надя играет на этом, а Ольга просто и честно живет, обеспечивая себя, и потому от Ольги не ушел, а Надя не пропала, уехала в конце концов в Англию, но и там, говорят, была несчастна. Комнаты этой больше не было — она продала квартиру, а потом старый дом снесли, это была кирпичная пятиэтажка в районе Рязанского проспекта, но он любил и тополя за окнами, и клумбу под окнами, и даже отвратительных старух у входа. Как-то так получилось, что отдавать, содержать, обхаживать и выхаживать было в его природе, и Надя к этой природе подходила больше; у нее вечно все ломалось, разваливалось, даже новая кровать, которую они выбирали вместе, даже телевизор, который он приволок сам вместо старого, — но и эта хрупкость вещей ему нравилась, все ветшало не просто так, а от соседства с настоящей страстью, всегда разрушительной. И почему тогда не ушел? Все равно ведь ушел потом от Ольги. Ужас в том, что

пока отношения живые — они живые в обеих семьях, и мертвеют почему-то тоже одновременно, так что и уходить становится незачем. Он мечтал иногда — вот бы эта комната была его собственная; и она теперь была его, насовсем, но без Нади, которая только мешала бы, без слишком понятной теперь Нади с ее замаскированным, хитро спрятанным хищничеством. Это и есть самое лучшее — когда все о ней напоминает, но самой ее при этом нет. Он радостно узнал ее древний проигрыватель, набор виниловых дисков, сумку со старыми фотографиями на шкафу. Кажется, у нее было полно сумок, не разобранных с прошлого переезда. У нее вечно ни до чего не доходили руки, а чем она, казалось бы, занималась? Но зла не было, никакого зла, одна грусть. И в окне у нее стояло то вечное время, которое он любил больше всего, — четыре часа пополудни, спальный район, вернувшиеся из школы дети скрипят качелями во дворе, покрикивают, гоняют мяч. И ветер из форточки холодит разгоряченное тело. Он больше всего любил оставаться у нее днем, вокруг шла жизнь, никто ничего не знал. Близость казалась острее от соседства этих криков и скрипов за окнами. Старуха выходила поливать грядку левкоев — интересно, выйдет ли старуха? Или у нее теперь другой дом? Может, ей всю жизнь хотелось играть на фортепьяно или вальсировать с полковниками, а вовсе не поливать левкой?

Третья комната — да, конечно, об этом он догадывался. Эта была дачная, с разохшейся, музыкально поскрипывающей мебелью. Дере-

вянный дом его детства давно сломали, а тот, который выстроили, он не любил. Но тут все было, как надо, — клеенка с изображением чайных чашек, блюдце, розеточек, тахта с красным в полоску покрывалом, шкаф со старыми журналами, лестница на чердак с множеством таинственных предметов и осиными гнездами, лепящимися к крыше... Теперь мы все пересмотрим, все переберем, перечитаем журналы, времени будет много.

Четвертой комнатой оказалась детская первого сына, старшего, любимого (врут, что младших любят сильнее), — он вырос теперь и стал неузнаваем, с ним не о чем было говорить, Степановым он явно тяготился, как тяготились им в последнее время все — неуместным, неудачливым человеком, что-то обещавшим, ничего не сделавшим. Да и что можно сделать? Чего мы ждем от людей? Чтобы они мир перевернули? Но сыну он обещал что-то особенное, персональное, и хотя в этой детской он был особенно счастлив, читая сыну вслух или собирая с ним сборные модели, — Степанов почувствовал именно тут страстную тоску, мучительное желание немедленно что-то сделать, что-то, чего ждали все. Но что именно сделать — он опять не догадывался и вернулся в первую комнату, больше всего боясь, что проводник сбежал и ответа искать не у кого. Но он не сбежал — честно сидел на диване, доброжелательно улыбаясь.

— Спасибо вам, вы очень хорошо все сделали, — сказал Степанов. — Замечательно построили, все детали учтены, я очень рад.

— Благодарите себя, — улыбнулся проводник. — Это ведь вы построили, это и есть ваш дом, который вот так сложился.

— Да, да, — рассеянно проговорил Степанов, — кто что построил, тот это и получит... Очень приятно, что по крайней мере не газовая камера. Но понимаете, я вдруг сейчас подумал: если все этим и исчерпывается, то не совсем правильно. Не совсем. Понимаете, я мог бы больше, лучше... мог бы вообще совсем другое...

— Там еще кладовка, — в некоторой тревоге пояснил проводник. — Ну, помните, десятый класс... у одноклассницы Астаховой Марии...

— Это я помню, да, — отмахнулся Степанов. — Кладовка, спасибо, очень хорошо. Но понимаете... изо дня в день, всегда, смотреть на эти пейзажи... — Тревога, только что напомнимшая о себе все тем же слабым уколом, теперь разгоралась, расползалась по телу, горела уже не только грудь, но и все лицо, и трудно было пошевелить левой рукой. — Мне кажется, что это тоска. И хотя я очень люблю... любил... провинциальные русские города, но есть же множество других возможностей. Мне кажется, если бы вы мне предоставили еще какой-то шанс...

— Но это же было ваше собственное решение, — удивился проводник. — И в Девятове можно было передумать...

— Да, да! — досадовал Степанов; его уже бесила эта вежливость. — Можно, но понимаете... иногда до такой степени все это достает... Поймите, иногда себя не контролируешь.

— Мы можем посмотреть другой дом, — терпеливо сказал проводник. — Другие комнаты.

— Нет, нет, не в этом дело! Все равно они все ведь уже были, понимаете?! Иногда принимаешь опрометчивое решение. Бывает, под влиянием минуты, и что я вам рассказываю?! По вам видно, что вы никогда ничего подобного не испытали. Я ценю вашу фирму, я заплачу сколько надо и чем надо. Но я вас очень прошу отвести меня на вокзал. Сам я тут не разберусь, а вы проводник. Вам положено. Это входит в ваши обязанности, в конце концов.

Проводник поднялся, и Степанов обрадовался.

— Ну вот, — сказал он. — Ну вот видите, я же говорил. Пойдемте, да?

— Я пойду, — виновато сказал проводник. — Вы пока посидите тут, успокойтесь. Потом пойдете, погуляете, встретите людей. Тут много людей, просто сейчас на работе все.

— Нет-нет, — настаивал Степанов, — мы пойдем вместе, и вы проводите меня на вокзал. Ну передумал, ну бывает. Ну пожалуйста! — канючил он уже совершенно по-детски. — Что я буду тут делать, сами подумайте! Это же невыносимо, я столько раз все это видел! Столько еще всего можно... пойдете, да? Вы же отведете! Вы проводник!

Проводник остановился на пороге.

— Понимаете, — сказал он, — я, наверное, сам виноват. Надо было предупредить. Дело в том, что я не совсем проводник...

— Ах, да я давно догадался! — воскликнул Степанов. — Что за секреты, подумаешь, все понятно со второй страницы...

— Да не в том смысле. — Проводник поправил очки и наклонился к его уху. — Я полупроводник, понимаете?

— Не понимаю, — сказал Степанов.

— Только в одну сторону, — сказал проводник. — Это там было написано, на стене в поезде. Просто никто не запоминает, а зря. Ну, вы отдохните пока. И потом это... там еще сад, в нем яблоки. Помните, как в колхозе, после первого курса...

— Да-да, — сказал Степанов. — Помню, помню. Яблоки.

ДРУГАЯ ОПЕРА

Анна в последнее время сама себя не понимала. Она совершала поступки, в которых не было и тени логики: все происходило по чужой, жестокой и непостижимой воле. Ей хотелось к Борису, но она ехала к Петру. И если в случае с Борисом, как назло, всегда опаздывал троллейбус и не ловилось такси, когда она к нему ехала, или прежде времени возвращался хозяин квартиры, в которой они уединялись, — то с Петром все складывалось идеально. Машина подкатывала сама, и водитель брал недорого. В отличие от Бориса, Петр был разведен. Квартира у него была собственная, и Анну там всегда ждали. Единственная проблема состояла в том, что Анна не любила Петра. Ей было с ним неловко в постели и скучно вне. Она вообще не знала, откуда взялся в ее жизни этот Петр, — познакомились по чистой случайности, на улице, она дала телефон, хотя никогда не делала ничего подобного, а там покатилося. Да и Борис что-то опять раздумал уходить от жены, так что первое время Анна действовала назло ему. А потом чужая воля завертела ею так, что она не успевала оглянуться. Вот и теперь она ехала к Петру, даже не помня толком,

он ли по обыкновению пригласил ее на свою знаменитую воскресную пиццу, сама ли она напросилась в гости, — ехала потому, что какая-то необъяснимая сила ее туда несла.

Петр ждал ее — как всегда строгий, подтянутый, безупречно одетый (отчего-то даже дома он встречал ее в костюме, при неизменном коричневом галстуке). Из кухни доносились вкусные запахи, паркет сиял чистотой, на столе в комнате сверкали бокалы. Больше всего на свете Анне хотелось, чтобы Петр на этот раз молчал, не заводил в сотый раз нудных бесед о своем бизнесе, о том, как он и подобные ему оздоравливают и поднимают Россию, — но Петр неумолимо осуществлял свою программу, в которой разговоры были обязательным пунктом. Потом они ели. Потом Петр ушел в ванную, чтобы принять неприменный душ и не мешать ей раздеваться. Боря обычно раздевал ее сам, и это нравилось Анне гораздо больше.

Не dokonчив омовения, препоясанный полотенцем, Петр вдруг вошел в комнату. Анна в задумчивости снимала колготки, когда он произнес:

— Мыло «Сейфгард». Тройная защита для всей семьи. Ты делаешь одно движение, мыло делает три. Не хочешь ли купить у меня партию мыла «Сейфгард»? Я являюсь его эксклюзивным дистрибьютором.

— Что с тобой, Петя? — ахнула Аня.

— Телефон пять-пять-пять, четыре-четыре, три-три, — как ни в чем не бывало, продолжал Петр. С него текло на паркет. — Ночью дешево.

— Петя, я пользуюсь «Каме», — пролепетала Аня.

— Прости, — спокойно произнес Петр и исчез в ванной.

«Господи, что с ним? И что со мной? — думала Анна, так и застыв на кровати в полуодетом и, надо признать, довольно привлекательном виде. — И откуда у меня вдруг, в этой чужой комнате, такое ощущение перелома в судьбе? Словно вот здесь, сейчас, когда я сижу на кровати и жду совершенно чужого мне мужчину, кто-то наверху решает мою судьбу. Именно сейчас она переламинается, и если я не сделаю лишнего движения, не буду раздеваться дальше, не пошевелюсь, то все произойдет как надо. У меня и раньше бывало такое чувство паузы — будто ветер застыл, прежде чем перемениться, но никогда так отчетливо...»

И точно, стоило Петру в бордовом махровом халате выйти из ванной и направиться к кровати, раздался звонок в дверь. Анна испуганно стала натягивать колготки, Петр решительно направился к двери и поинтересовался, кто там.

— Свои, — ответил знакомый голос, и Петр, хоть и пробурчав под нос «свои все дома», начал щелкать бесчисленными стальными замками. На пороге стоял Борис.

— Одевайся, Аня, — сказал он, не удостоив Петра приветствием. — Ты едешь ко мне. Я все решил.

— Боренька, ничего не было, — пролепетала Анна с несвойственной ей интонацией жалкого самооправдания, чувствуя, однако, что душа ее поет.

— Я знаю. Чтобы у тебя с этим что-нибудь было, — презрительно бросил Борис, не глядя на Петра, — должен мир перевернуться. Скорее дублински на Ленинском подешевеют. Едем, такси ждет внизу.

Аня не успела даже удивиться, откуда у Бориса, вечно перехватывавшего у знакомых в долг, деньги на такси. Она стремительно оделась, чуть не прищемив колготки молнией на сапоге и больше всего заботясь о том, чтобы не взглянуть на Петра, не задеть его случайным жестом — такую брезгливость вызывал он у нее теперь. Борис тоже не попрощался. Они вышли под снег.

— Боренька, — спрашивала Анна, прижимаясь к нему в машине. — Откуда у тебя его адрес?

— Проследил однажды, — небрежно отвечал Борис.

Здесь была какая-то сюжетная нестыковка, но Анне лень было вдумываться. Ее укачивало в блаженном тепле.

— А с Ниной ты... все?

— Окончательно, — кивнул Борис и нахмурился.

Давно ненавидя жену, он был все-таки привязан к дочери. Но Анне не хотелось омрачать этой мыслью безмятежного счастья, которое переполняло ее. К тому же водитель включил радио, и раздалась песенка, которую она слышала так часто в последнее время — песенка с глупыми-преглупыми словами и разудалой мелодией: «Простые горести, простые радости, щепотка горечи, щепотка сладости»... Песню эту она слышала строго два раза в день, утром

и вечером, по какой-то странной закономерности: то в такси, то по телевизору, то из-за стены, от соседей. Анне и в голову не приходило, что это песенка для титров сериала «Простые радости», где у нее была роль.

К счастью для Бориса, случилось так, что старый, твердых правил драматург Каменькович успел написать только вступительный эпизод этой серии и слег. До всех дел Каменькович сделал себе имя и трехкомнатную квартиру в центре на пьесах из пионерской жизни — «Сердце вожатого», «Председатель совета отряда», «Сплетня», — которые триумфально, как советская власть, шествовали по ТЮЗам страны. К концу восьмидесятых вся эта розовая дребедень перестала ставиться, и Каменькович, три года помыкавшись в бездействии, вышел на режиссера Кулюкина, задумавшего ставить российские многосерийные новеллы на бразильский лад. Сейчас они вместе писали уже шестой проект. Каменькович сам придумал Петра, очень похожего на его положительных пионеров, председателей совета отряда, которые теперь и точно почти сплошь были в бизнесе. Он рассчитывал отдать Анну Петру, но поскольку в одиночку сериалы не пишутся, на его пути встало препятствие в виде молодого и перспективного драматурга Быстрова. Быстров, регулярный участник семинаров в Молчановке и большой авангардист, любил Бориса и не собирался уступать Анну кому попало.

Борис не устраивал Каменьковича тем, что это был типичный представитель современной молодежи, избалованный, рефлекслирующий

и неспособный к активным действиям. Он вечно не знал, чего хотел. Кроме того, Каменьковичу не нравилось, что у него есть жена Нина и еще Анна. У нормального человека должна быть жена, и все.

Но Каменькович заболел, и двадцатая серия досталась Быстрову. Он прочел вступительный эпизод и обалдел. Поначалу ему захотелось вообще похерить всю историю, начав серию заново, но потом он ощутил особый зуд злорадства. Старику и его любимчику с трехкомнатной квартирой в элитном доме следовало показать по полной программе. Борис ворвался очень вовремя. Опасность была в одном — следующую серию, по договору, опять должен был писать Каменькович. Он мог запросто помирить Бориса с гнусной Ниной, в свое время окрутившей его путем залета, и Аня со злости опять побежала бы к еще более мерзкому Петру. Сначала Быстров собирался оттянуться на хорошей, хотя и целомудренной любовной сцене, а потом все-таки сжечь между Борисом и его женой кое-какие мосты.

— Знаешь, как я мучился, — сказал Борис, утыкаясь ей в шею. Они не могли разлепиться уже третий час.

— Да, да, — глухо говорила она, — я тоже как не в себе, и все из рук валится. Как же ты все-таки решился? Я понимаю, что не имею права спрашивать, я сама хороша, как выяснилось, но все-таки...

— Господи, да ты-то чем виновата? — простонал он. — Я бы не удивился, если б ты со злости

вообще за границу сбежала с миллионером, как эта... ну, Сафонова-то еще играла ее... Прости, прости...

— Самое главное, знаешь, — говорила она, глядя его спину, ероша волосы на затылке, ты-чась мокрыми губами куда попало, — самое главное, что я совсем, совсем не понимала, зачем я все это делаю. Я не помнила себя. Ты думаешь, мне была нужна эта его квартира... его деньги... замужество... Господи, да если бы я хоть на секунду смогла представить, что он мой муж, я повесилась бы от безысходности. Если бы ты не пришел... ну что же, я дала бы ему, и еще, и еще раз, но потом все равно побежала бы к тебе... поползла на брюхе...

— Нет, я не мог не прийти. Я однажды ехал за тобой всю дорогу, таксиста гнал... Хорошо хоть теперь деньги есть. От заказов не отобьешься: там перевод, сям перевод... Ты знаешь, мне что-то вдруг дико стало везти в последнее время. Я все думал, почему такая полосатая жизнь? То ни копейки, и ты еще ушла... поссорились... слушай, как мы могли вообще? — Он поцеловал ее в бровь. — То прямо как поперло, представляешь, и деньги, и все... Я иногда думаю: кто-то меня там не любит. Потом думаю: нет, все-таки любит. Любит, но испытывает.

Борису было совершенно невдомек, что говорить о каком-то одном авторе в его случае было смешно. Авторов было двое, иногда вклинивались режиссер и спонсор; один его действительно не любил, зато другой, дорвавшись до дела, немедленно осыпал благодеяниями. Анну никто не любил и не ненавидел, к ней

все относились спокойно, скорее как к неизбежному злу, потому что в центре любого сериала должна быть красивая одинокая девочка со сложным характером. Это ровное и беспристрастное отношение к себе она чувствовала и поэтому в Бога не верила.

— А я в Бога не верю, — сказала она Борису. — Зачем мне Бог, когда есть ты?

— Глупости, — сказал Борис. — Ты что же, веришь, что все вот так и кончится? Что все это может кончиться здесь и сейчас?

— А как же иначе? — искренне спросила Анна. — Ты всерьез допускаешь, что может быть какая-то другая жизнь?

— Конечно, — сказал Борис уверенно. — Я, например, уверен, что живу уже не первую.

— Ну-ка, ну-ка! Ты помнишь Древнюю Грецию? Знаешь, одна актриса — вся такая интеллектуалка — очень любит рассказывать, что в прошлой жизни она была древним греком. Гречкой. До нее это дошло, когда у нее там во время какого-то поэзоконцерта в Акрополе микрофон отключился. И она голосом охватила весь Акрополь. Ты представляешь, бред какой?

Это была невинная месть Быстрова сухощавой и самовлюбленной гранд-даме русского интеллектуального театра, отказавшейся взять в свою антрепризу его пьесу «Отравительница Федра».

— Нет, Греция ни при чем. Знаешь, — говорил Борис, увлекаясь более и более, — мне вообще иногда кажется, что я живу какую-то не свою жизнь. И жена мне досталась не моя, и квартира не моя... Имени своего — и то терпеть не могу.

Вот если бы меня звали Андрей... Нет, серьезно, — он приподнялся на локте, не переставая, однако, гладить лицо Анны, бледное в полутьме лицо с закрытыми глазами. Они лежали в комнате Борисова друга, художника, который часто их пускал к себе, когда уходил работать в мастерскую. — Я, когда с Нинкой жил, все время бился об стены. То есть мне тесно как-то было, все ушибался об углы, что она ни приготовит — мне невкусно... Ты не представляешь, какой это кошмар! И вид, вид за окнами — совершенно не такой, как мне надо! И работа, понимаешь, — я не могу сказать, что не люблю свою работу, но рожден-то я, мне кажется, был для чего-то совсем другого! Мне иногда казалось, что я в принципе должен бы заниматься музыкой, только музыкой и ничем другим.

— Ты? — Анна усмехнулась и открыла глаза. — Борька, тебе же бурый медведь ухо оттоптал!

— Ну, не бурый, не бурый. Так... панда. Но вот, понимаешь, чувствую, что только этого мне и хочется: гастролировать... дирижировать... Я даже думаю иногда, что очень хорошо бы смотрелся за пультом, — он встряхнул волосами, и Анна счастливо рассмеялась. — Пожимал бы руку первой скрипке, — и он пожал, хотя совсем не руку и отнюдь не скрипке. — Потом бы палочкой, палочкой... — и в комнате потемнело: то ли зашло солнце, то ли здесь по закону жанра было предусмотрено затемнение.

Борис и не догадывался, почему собственная комната, жена и профессия казались ему чужими. Как большинство молодых авторов,

Быстров охотно населял собственные сочинения друзьями и знакомыми. Бориса он практически без поправок списал со своего друга, молодого, но уже успешного композитора, получившего несколько престижных заказов в Германии и теперь жившего в Кёльне. Друга действительно звали Андрей. Сейчас Быстров как раз сочинял ему либретто для оперы о ядерном апокалипсисе. Опера была новаторская, рассчитанная только на ударные. Губайдуллина находила быстровского друга большим оригиналом.

Этот-то молодой мэтр, привыкший к успехам и деньгам, был вставлен в интерьер двухкомнатной квартиры в недрах спального района около метро «Щелковская», снабжен нелюбимой женой, окружен тупыми и злобными соседями, награжден профессией переводчика с японского и вдобавок иногородним происхождением, так что своего жилья, куда можно было бы водить Анну, у него не было. Последнее было предусмотрено сюжетом — иначе он давно ушел бы от своей дуры, и все закончилось бы уже в третьей серии.

Счастливо откинувшись на стуле и закинув руки за голову, Быстров воображал себе то, что происходило сейчас между Борисом и Анной. Увы, по условиям договора он был лишен возможности прописать все это в сценарии и теперь оттягивался, заставляя Бориса и Анну хотя бы в своем воображении проделывать все то, что проделывал накануне с потрясающей девочкой Настей, то ли снятой им, то ли снявшей его накануне в клубе «Убиться веником». От

этого упоительного занятия его оторвал телефонный звонок.

— Игорь? — деловито осведомился режиссер Кулюкин. — Ты двадцатую закончил?

— Нет, мне еще пару эпизодов. — Быстров улыбнулся, представив, как сейчас на вечеринке, куда жена Бориса отправится заливать тоску, познакомит ее с потрясающим плейбом с воровскими наклонностями и постепенно сделает историю этой пары второй главной линией, вследствие чего Петр окончательно сдвинется на периферию сюжета.

— Вот и слава богу, — Кулюкин облегченно вздохнул. — Ты знаешь, Чумаков требует, чтобы ему обязательно дали написать финал серии. Он же оговорил свое право иногда писать про этого своего... ну как же его, господи...

— Плехацкий, — с отвращением проговорил Быстров.

— Точно, Плехацкий. Седеющий бизнесмен, на которого все время вешаются молоденькие, с ногами. Отдай ему сценарий, пусть впишет сцену-другую. Ты же понимаешь, мы без него в полном дерьме. Он пришлет человека за дискетой через час.

Чумаков — главный спонсор сериала и тайный графоман — выговорил себе право непременно вписывать в каждую третью или четвертую серию эпизод с участием своего альтер эго, безукоризненного джентльмена с вечным кристалликом грусти в голубых глазах. Плехацкий был из старой дворянской семьи. Теперь он возродил традиционный русский бизнес — выпускал напиток «Ясный перец» на основе

перечной мяты. Кроме того, именно он через свои связи привлек в «Простые радости» львиную долю рекламы мыла, которая обильно уснащала текст. Без такой джинсы на РТР нечего было ловить.

За оставшийся у него час Быстров успел вписать в сценарий только краткий рассказ Бориса о том, как он швырнул Нинке в лицо свои ключи и попихал в дипломат свои словари, а из вещей унес только то, что на нем было. Быстров начал было сочинять сцену в ночном клубе, где Нинка с опухшей мордой высматривала хорошенького спутника на предмет залить горе (дочь она отвезла к матери), но тут раздался звонок в дверь, и юноша с манерами официанта и глазками убийцы принял у Быстрова дискету со сценарием. Через четверть часа спонсор Чумаков приступил к сладостному труду.

...Плехацкий был бы идеальным мужчиной, если бы не пара странных особенностей. Во-первых, все его контакты с женщинами всегда ограничивались совместным походом в ресторан, старомодным медленным танцем и сдержанными сетованиями на одиночество и непонимание, от которых он страдал с тех пор, как разбогател. «Понимаете, уровень моих партнеров по бизнесу не предполагает адекватного общения между нами. Душа просит совсем иного», — говорил дворянин. Девушки охотно кушали за его счет, доверчиво выслушивали жалобы и смотрели огромными понимающими глазами (ему все попадались голубоглазые), но тем же вечером бесповоротно исчезали из его жизни. Плехацкий всякий раз хотел пригласить

девушку к себе и ни секунды не сомневался в успехе, но что-то его останавливало. Все опять заканчивалось каким-то подростковым провождением очередной спутницы до ее дверей. При расставании девушки смотрели на него, как на идиота. Плевацкий понятия не имел, что причиной такой его неудачливости было патологическое целомудрие его создателя. Чумаков не мог допустить, чтобы его вымечтанный альтер эго тащил в постель каждую встречную. Он любил сцены красивых ухаживаний.

Второй же неприятной особенностью Плевацкого, мучительной прежде всего для него самого, было то, что он заговаривался. Ошибки в словах он делал самые необъяснимые, и как раз тогда, когда требовалось особое красноречие. Вот и сейчас, когда прелестная визави (естественно, с ярко-синими, круглыми, как бы фарфоровыми глазами) излагала ему свою печальную, загубленную непониманием и бедностью жизнь, Плевацкий произнес дрожащим голосом:

— Дитя мое, я готов разрыдаться!

Он тут же прикрыл рот. Девушка сделала вид, что ничего не заметила. Плевацкому было невдомек, что Чумаков пишет сравнительно недавно и потому делает самые идиотские опечатки. Однажды вместо «мне кажется, я вас люблю!» Плевацкий, к собственному ужасу, вякнул: «Мне кажется, я вас обьоб» — это Чумаков осваивал слепой метод и сдвинулся по клавиатуре на одну букву влево.

Девушка нравилась ему все больше и больше. Плевацкий был уверен, что на этот раз ему

повезет. Правда, пригласить ее к себе он по-прежнему не решился, но уже узнал из разговора, что она живет одна. Они сидели в том самом ночном клубе, где Борисова Нинка искала себе плейбоя на ночь. Плехацкий познакомился с этой девушкой у стойки и теперь медленно, но верно вел дело к победному концу. Расплатившись, он повел ее к дверям и подозвал личного шофера.

— Ступай домой, к жене, голубчик, — произнес он отечески. — На сегодня я тебя отпускаю.

Прислуге не следовало знать, где ночует босс. Между тем босс практически не сомневался в том, что сегодня его пригласят остаться.

— Мы поедем с тобой на такси, дитя мое, — конфиденциально сказал Плехацкий, склонившись к бледному ушку спутницы.

Все это время Нина, Анна и Борис чувствовали необъяснимую, томительную скуку. Вечер казался им, хоть и проводившим его поврозь, одинаково долгим и бесплодным. Но это был вечер Плехацкого: до главных героев Чумакову никогда не бывало дела. Он брался за сценарий, только когда хотел подбросить любимому персонажу очередное похождение.

— Все было очень вкусно, — сказала девушка, кротко подняв глаза на Плехацкого. Она лгала. На хороший клуб и достойное угощение Чумаков жалел денег. Кормили в сериале очень посредственно. Но ей не хотелось одной добираться домой, и приходилось миндальничать со старым козлом.

Старый козел лихо поймал такси и только тут вспомнил, что наличных денег у него в обрез —

ровно в один конец до «Академической». Домой, на Бронную, пришлось бы идти пешком, так что остаться на ночь было не только делом чести, но и единственным выходом. Была, конечно, пластиковая карта, но где он найдет на «Академической» в половине первого ночи работающий банкомат?

...Они шли по улице Дмитрия Ульянова в сторону Дома аспиранта и стажера МГУ. Чумаков однажды бывал в этом районе — заезжал за одной студенткой, которая потом оказалась прожженной стервой, — и теперь эксплуатировал воспоминание. Плехацкий философствовал.

— Дитя, ты так еще молода, — говорил он. — Мои седины... Когда я подумаю о годах, пролегающих между нами... Ты смеешься? Правильно! Смейся, резвись, порхуй...

Он понял, что сказал что-то не то, но было уже поздно. Девушка оглушительно расхохоталась, вырвалась и убежала в арку. Смех ее долго еще отдавался во внутреннем дворе, пока в дальнем подъезде не хлопнула дверь. Плехацкий остался стоять на улице ленинского младшего брата в полной растерянности.

Пошел тихий снег, было безлюдно, и Плехацкий ощутил вдруг такую тоску, такую мучительную заброшенность, какую испытывал только в детстве, когда ему долго не спалось и казалось, что весь мир спит, а он нет. Он представил себе, как будет один возвращаться домой, выругал себя за то, что отпустил шофера, и с отвращением пнул ледышку, с глухим стуком врезавшуюся в бордюр. Плехацкому казалось, что Бог оставил его.

Это произошло потому, что Чумаков, вечно перенапрягавшийся на своей фирме и при том далеко уже не юноша годами, заснул над клавиатурой, и теперь герою предстояло выпутываться из положения самому. Как всякий нежизнеспособный персонаж, созданный дилетантом, Плехацкий такого навыка не имел. Самостоятельно вылезать из сложных положений могут только полнокровные, выпуклые герои, сочиненные талантливymi писателями и способные обходиться без их диктовки. Плехацкий же все стоял на улице и с отчаянием озира л заснеженный пейзаж московской окраины, где он сроду не бывал. Так закончилась двадцатая серия — двадцатое февраля двухтысячного года.

На другой день Каменькович выздоровел, и в двадцать первой серии Борис, пресытившись Анной, покаянно вернулся к жене. Несмотря на все его предосторожности, Анна через неделю почувствовала себя беременной, потому что непременным условием продолжения сериала спонсор поставил упоминание памперсов «Либоро». Петр выразил готовность усыновить ребенка. Быстров разорил Петра и подсунул Нине любовника-иностранца. В двадцать пятой серии Анна и Борис снова лежали в мастерской друга-художника, плакали и спрашивали друг у друга, когда это кончится. И на всем пространстве многогеройной эпопеи «Простые радости» не было персонажа, способного милосердно и безжалостно объяснить им, что это не кончится никогда, никогда, никогда.

6 января 2006 года молодой поэт Коркин, криво улыбаясь, сидел в кабинете немолодого поэта Катышева, редактора поэтического отдела в толстом журнале, выживающем исключительно молитвами Сороса. В последнее время Сорос манкировал молитвами. Видимо, его вера слабела. На столе у редактора стояла трогательная пластмассовая елочка с крошечными шариками. Редактор принимал поэта на дому — журналы были в новогоднем отпуске.

— С вами все понятно, — сказал Катышев, возвращая Коркину дискету с подборкой. — В принципе, не будь у вас задатков дарования, следовало бы посоветовать вам навсегда оставить виршеплетство и заняться, например, коммерцией. А лет пятнадцать назад вас послали бы на завод. Так сказать, знакомиться с жизнью. Вставать в шесть утра, потеть и коптиться у вагранки, сливаться с пролетариатом, после смены пить пиво и через два года такой жизни отупеть до полной бездарности. После этого вам была бы открыта дорога в заводскую многотиражку, потом — в литобъединение «Закал», в журнал «Литературная учеба» и — как следствие этого — в Союз писателей.

В голосе Катышева зазвучала ненависть. Чувствовалось, что на этот путь его в свое время подталкивали много и усердно и только фантастически дурной характер позволил ему назло соблазнительям двадцать доперестроечных лет влачить жизнь литконсультанта при журнале «Пионер».

— Но у вас есть способности, да и в разговоре вы производите впечатление воспитанного юноши, — продолжал редактор, в упор глядя на Коркина. — Поэтому примем меры радикальные. Вы, как и вся ваша генерация, обчитались Бродским. Это дело опасное, потому что в результате здоровые, полнокровные люди начинают писать мрачные и скучные тексты без ритма и музыки о том, как им все надоело. Все превращается в перечень, понимаете? Глаз скользит по пейзажам и лицам, ни на чем не задерживаясь. Все бабы априорно сволочи. А между тем в паре ваших текстов чувствуется теплота, юмор, живая наблюдательность — словом, жаль, если пропадете. Вас надо отчитать.

— Да вы уж отчитали, — буркнул Коркин, в глубине души убежденный, что Катышев почувал в нем нового гения и теперь зажимает из зависти.

— Я не в том смысле, — отмахнулся Катышев. — Вы про Колесникова слышали?

— Который футболист? — презрительно спросил Коркин.

— Темный вы человек, Володя, — укоризненно сказал Катышев. — Он экзорцист. Спас для литературы больше людей, чем этот ваш футбольщик голов забил. Приходят к нему

кликуши, мизантропы, ксенофобы, патриоты-деревенщики... А уходят нормальные люди. Некоторые, конечно, сразу бросают литературу. Оно и к лучшему. Но другие выходят наконец на свою дорогу.

— Экзорцист... — протянул Коркин, вспоминая знакомое слово. — Я кино такое смотрел, помнится. Там в девочку вселился дух, а священник его выманил. Она все писалась, писалась... потом ее рвало... кошунства всякие... а подлинная ее сущность высовывалась и пищала: спасите меня, спасите меня!

— Вот и ваша высовывается и пищит, — сказал Катышев. — Спасите меня, я хочу жить, а не презирать все живое! И если вы не пишались и не кошунствуете, это вовсе не значит, что вам не нужен экзорцист.

Он снял трубку старомодного дискового телефона и набрал номер, который помнил на память.

— Коля? — спросил он тепло и уважительно. — К тебе на когда можно записаться? Нет, мне бы поскорей... Да, довольно запущенный, но не без потенций. Бродский, да. Минуточку.

Он прикрыл трубку ладонью и доверительно спросил Коркина:

— Пятьдесят баксов есть?

— Найду, — пожал плечами поэт. — Но это ведь чистое шарлатанство...

Катышев погрозил кулаком.

— Да, Коленька, он согласен, — сообщил он невидимому экзорцисту. — Завтра? Отлично, я бы мог в пять. Сам и приведу.

— Но завтра Рождество, — проямлил Коркин.

— У вас планы?

— Собственно, я...

— Собственно, вы собираетесь сидеть дома в темной кухне и сочинять рождественские стихи, — догадался Катышев. — Не надо. Придумайте что-нибудь свое. Попробуйте сочинять пасхальные.

Следующее утро Коркин провел в терзаниях. Он ненавидел себя за податливость и за то, что дает катышевскому другу-шарлатану подзаработать. Редактор явно получал комиссионные за отлов новичков. Но с другой стороны, столь мелкое жульничество не вязалось с образом катышевского лирического героя, да и поэт он был значительный — его похвала, хоть и с оговорками, грела коркинское самолюбие. Кроме того, он надеялся, что пятьдесят долларов служат в вожделенном журнале неким вступительным взносом, обычной платой за публикацию: рынок проник повсюду, литературному изданию без таких ухищрений не выжить... Как бы то ни было, в назначенное время Коркин зашел за Катышевым в редакцию, и они пешком направились в мансарду на Малой Бронной.

— Главное, не бойтесь, — наставлял Катышев. — Он отличный малый, без всяких оккультных примочек. Вы такое облегчение почувствуете, милый мой! Мир для вас заиграет всеми красками...

Коркин посмотрел вокруг, и настроение его испортилось окончательно. Играть всеми красками было решительно нечему. Стояла оттепель, погода была вовсе не рождественская, снег лежал разве что в витринах, и то искусственный. Люди, утомленные недельными празд-

нованиями и предвкушавшие еще два дня мучительного отдыха, вяло плелись по бульварам. Все были смертны, а возлюбленная, которой Коркин позвонил утром с поздравлениями, явно торопилась на встречу с кем-то более веселым. «Где она нынче — мне неизвестно, правды сам черт из нее не выбьет», — вспомнилось поэту. Пятнадцатый троллейбус прополз мимо, взбаламутив льдисто-грязевое крошево. Толстый карликовый бульдог с выражением злобной целеустремленности на морде, натягивая поводок, тащил за собой по бульвару толстую старуху с выражением испуганной покорности на лице. Деревья топорщились голыми ветками, как легкие на школьной диаграмме. Навстречу попалась влюбленная пара: девушка в пудовых, по последней моде, башмаках брезгливо пропускала мимо ушей пылкие речи спутника, явно думая о чем-то, а может, и о ком-то постороннем. «Вот и все они такие, — с тоской подумал Коркин. — Идет с одним, мечтает о другом, а достается третьему, с деньгами». Получились две ямбические строчки, которые он решил со временем раздуть в полновесную элегию о подлости всего сущего. Если бы экзорцист жил чуть подальше, он бы успел придумать рифмы, но тут Катышев решительно подтолкнул его к темному подъезду.

— Сюда, сюда... на самый верх...

На лестнице пахло штукатуркой и кошками. За железной дверью помещалась неожиданно просторная приемная, в которой уже дожидались своей очереди пять человек разного возраста и пола. Колесников заставлял себя ждать. Лишь в половине шестого он стремительно вы-

шел из маленькой дверцы, видимо отделявшей приемную от кабинета. Следом появилась красотка с подносом. Она остановилась напротив Коркина в выжидательном полупоклоне.

— Деньги доставайте, — грозно шепнул Катышев.

Коркин криво усмехнулся и извлек зеленую бумажку. Девушка кивнула и обошла остальных. Некоторые выкладывали сразу по две сотенных, из чего Коркин заключил, что его случай не самый тяжелый. Колесников обладал ярко выраженной восточной внешностью: ассирийская борода, густые брови, еще более грозные при малом росте, и адабашьяновские глаза навывкате. Знаменитая «Овсянка, сэр!» была бы в его устах вполне органична.

— Господа, — начал он ровным и тихим голосом, — мой метод предполагает групповую терапию. Вы не должны в страхе ожидать приглашения за эту дверь, и потому я сам выхожу к вам. Не стесняйтесь товарищей по несчастью: все вы одержимы духами, но это не демоны низкой наживы и мелкого мошенничества. Вы больны, но это болезнь высокая, говоря словами одного из самых сильных духов в русской литературе. Только коллективное желание преодолеть одержимость способно принести плоды. Кроме того, само сознание типичности вашего случая, возникающее при групповом бесоизгнании, облегчает душу. Сегодня, в святой вечер Рождества, духи особенно восприимчивы. Поздравляю вас. Приступим. Начнем, пожалуй, с... с... с...

Палец Колесникова заблуждал по кругу. Коркин вжался в кресло.

— С вас, если позволите, — обратился он к надменному посетителю лет двадцати пяти, бледному, прыщеватому, с длинными невымытыми волосами и толстой взлохмаченной рукописью в картонной папке. — У вас кто?

— Вы сказали — Набоков, — презрительно отвечал посетитель.

— А, так вы после первичного осмотра... Припоминаю, — прищурился Колесников. — Помнится, полгода назад я вам сказал зайти весной, провериться... Что же, прочтите пару абзацев.

Криво улыбаясь и качая головой, дескать, так и быть, доиграю с вами эту вздорную драму, длинноволосый достал листок и монотонно, несколько нараспев прочел: *«Вспоминая лаковую гладкость ее долголягих ног, оттененных штриховым пушком снутри, Цептер грезил — вот подойду, вот трону, но соглядатай, живший в нем безотлучно, принимался мерзко хихикать, и образ таял, как колышущееся дымное кольцо, выпущенное усатым весельчаком в душной берлинской пивной на потеху честной компании. (Стук кружек, гогот.) Меж тем крался изразцовый вечер, и закат краснел, смущаясь, что опять не поспел вовремя, и подаваясь взад-вперед в такт дребезгу трамвая, под его звяканье, подобное осипшему дверному звонку...»*

— Достаточно, — безапелляционно прервал Колесников. — Подзапустили. Надо бы нам с вами не откладывать до марта... Но ничего, ко мне теперь часто с Набоковым приходят. Есть безотказные приемы. Прошу вас, никакого волнения... тьфу, какой заразный! — Экзорцист потрянул головой, отгоняя непрошеную цита-

ту. — Могут быть неприятные покалывания и легкое головокружение, но это быстро пройдет. Сосредоточьтесь и слушайте внимательно. Если возникнут вибрации, не пугайтесь. Если затошнит, не удивляйтесь. Когда я подам знак, выпейте это. — Он кивнул девушке, и она тут же извлекла из стоящего в углу холодильника литровый пакет молока «Милая Мила».

— Холодноовато, — пощупал Колесников. — Дашенька, подогрейте до температуры парного... и подуйте в соломинку, чтобы вспенилось. Раз, два, три! — Он сделал стремительный пасс в сторону длинноволосого, и тот безвольно поник в кресле, сраженный гипнотическим сном.

Колесников стремительно подошел к книжному шкафу и почти наугад, как бы в трансе, извлек толстый красный том. Голос его зазвучал тяжело и властно. Даша поспешно сунула в вялую руку пациента круто посоленную ржаную горбушку и встала наготове с подносом.

«И вот в нелегкое это время скупое и неяркое, словно стыдясь неурочного часа, расцвела любовь Федора Морозова и Клашки Никульшиной. Они не ложились теперь, как когда-то, в пахучие травы, не гулевали, взявшись за руки, по зареченским лугам, любуясь, как зажигаются звезды. Нароботавшись бок о бок в тех самых лугах, они присаживались приморить усталость, и Клашка доверчиво мостила головушку на его мосластые колени.

— Что ж закрепшее вино в ковшике носить? — спрашивал Федор. — Расплещется! Не томи, Кланя!

— Не могу я допрежь свадьбы, Федя! — разрумянясь от стыда и доверчивого девичьего же-

лания, отвечала Клашка. — Как я людям в глаза посмотрю, как мамане отвечу?

Хмыкал да гмыкал Федор, а вокруг духмяно возрастали горькие сибирские травы...»

При этих словах руки длинноволосого беспокойно задвигались, словно ища, кого схватить. Даша поспешно сунула ему кружку, в которой пенилось подогретое молоко. Пациент осушил ее единым духом и сомнамбулически откусил полгорбушки, после чего сморщился и мелко затрясся.

«Сильно и часто вздымалась Клашкина крепкая грудь, увлажнились чуть раскосые глаза.

— Люб ты мне, Федя! — выдохнула она и, рванув на тугих грудях платье из застиранного ситчика...»

Длинноволосый содрогнулся всем телом и прерывисто вздохнул, как человек, сдерживающий рвоту.

— Не сдерживайтесь! — повелительно воскликнул Колесников.

Длинноволосый открыл рот. В воздухе запахло хорошим парфюмом и альпийским медом. Внезапно пациент закашлялся, и изо рта у него вылетела небольшая серая бабочка, больше напоминавшая моль, покружилась над длинноволосым, словно изумляясь, как могла выбрать такое непрезентабельное жилище, и вылетела в заблаговременно открытую Дашей железную дверь. Все произошло так быстро, что Коркин не успел опомниться.

— А что такая маленькая? — полюбопытствовала высокая темноволосая девушка из угла.

— Раз на раз не приходится, — оборотился к ней Колесников. — По таланту, дорогая моя,

по таланту. Из Виктора Ерофеева в свое время вообще мушка вылетела, типа дрозофилы... А как благодарил!

Длинноволосый медленно приходил в себя. Неузнающими глазами обвел он комнату, словно спрашивая: где я? отчего так сижу? Впрочем, ввиду излечения он уже не спрашивал ничего подобного. Нормальным, нисколько не надменным голосом он поинтересовался:

— Николай Андреевич, получилось?

— Ну вы же сами чувствуете, дорогой мой! — улыбнулся Колесников. — В Батово не тянет? По родине не тоскуете? Перестал я вам напоминать шахматного коня?

Длинноволосый порывисто вскочил, несколько раз энергично потрянул руку экзорциста и, забыв в кресле свою папку, вылетел за дверь.

— Набоков вообще хорошо изгоняется деревенщиками, — доверительно пояснил Колесников. — Это дух покладистый, невредный... Вот с самими деревенщиками труднее. Давеча одного два часа Сартром отчитывал — ну и хлынуло же из него потом, правду сказать! Конским навозом три дня пахло, а в сочетании с елеем это, знаете, то еще амбре... Ну-с, продолжим. Почитаете, что ли? — обратился он к высокой брюнетке, спрашивавшей про размеры бабочки.

Брюнетка была ничего, только держалась болезненно прямо, словно проглотила линейку, и нехорошо посверкивала глазами, особенно долго задерживая взгляд на бедном Коркине. И ноги у нее были великоваты, размер эдак сороковой, — не то Коркин, конечно, возымел бы на нее виды.

— *Всем взглядом — вонзаюсь,
Всей грудью — прильну,
Всем телом — вгрызаюсь
В твою — глубину, —*

с легким задыханием скандировала брюнетка по рукописи, обозначая паузами бесчисленные тире.

— *Распята — навеки
На зимнем — ветру,
Учитесь, калеки,
Пока — не умру! —*

с вызовом закончила она.

— Сложный случай, — покачал головой Колесников. — С одной стороны, чистая цветущая, но с другой... почерк покажите, пожалуйста. — Он впился взглядом в тетрадь. — А почему вы заглавное А пишете как строчное, только перечеркиваете? Эх, ахматовская душа... И потом вот это. — Он небрежно перелистнул страницу. — «Таинственных слов твоих жало, томительных горечь утех я в тысячный раз променяла на то, что доступно для всех...» Да, голубушка, сложно. Как-то они вас борют по очереди... Чем же мне вам помочь-то? Дашенька, тальяночку бы мне...

«Неужели Есениным будет отчитывать?!» — ужаснулся Коркин, но Колесников уже развернул крошечную гармонику, и при первых ее звуках брюнетка погрузилась в тяжелый сон. Даша достала из кармана красный платок, повязала на голову и мгновенно преобразилась в пейзажку. Колесников приплясывал, высоко взбрасывая короткие ноги.

— *Дура, дура, дура ты,
Дура ты проклятая,*

*У него четыре дуры,
А ты дура пятая! —*

запел он неожиданным дребезжающим фальцетом.

Даша, взвизгивая, подхватила:

— Мне милый изменил

Под железным мостиком!

В добрый путь, — ему сказала, —

Обезьяна с хвостиком!

И на два голоса они триумфально закончили свой дивертисмент:

— Сидит милый у ворот,

Моем морду борною,

Потому что пролетел

Ероплан с уборною!

На этих словах брюнетка выпрямилась более обыкновенного и принялась изрыгать клубы папиросного дыма. Повеяло древними поверьями, старинными духами и немного отчего-то ладаном. Послышался демонический женский смех, перешедший в икающие рыдания. Кратковременно попахло сиренью; брюнетка испустила стон страсти и обмякла.

— Скажите, — спросил осмелевший Коркин, пока она приходила в себя и поправляла прическу, — а вы с Сорокиным поработать не пробовали? Вот где, по-моему, благодатная почва... хотя, простите, если я лезу не в свое...

— Да как же с ним поработаешь, голубчик? — искренне изумился Колесников. — Из него дня три лезть будет, по преимуществу Петр Павленко, это сами знаете, какие ароматы, — а потом, ведь ничего не останется, у него сил не хватит своими ногами уйти! Рассеется, как Грушницкий из школьного сочинения. Помните? «Гря-

нул выстрел, и Грушницкий рассеялся, как дым». Я тут недавно из одной поэтессы — не будем называть имен, дама известная, православная — целый букет изгнал, весь Серебряный век, почитай, и еще Слуцкий... навонял мне тут ружейной смазкой... И что вы думаете? Под руки выводили, пять килограммов потеряла за сеанс! Теперь уехала на пасеку и больше не пишет. Следующий!

Короткий опрятный мужчина лет сорока пяти с бородкой клинышком, с крошечными изящными ручками и ножками прочел абзац, из которого Коркин понял только, что какой-то японский рыбак никак не мог понять, он ли снится рыбе или рыба ему, после чего выяснилось, что оба они снятся арабскому звездочету, который, в свою очередь, является галлюцинацией Артюра Рембо, а Рембо на самом деле не было, потому что его выдумал слепой аргентинец. С аргентинцем все было понятно по первой фразе, но Колесников слушал внимательно, не прерывая. Наконец абзац кончился. В финале выяснилось, что слепой аргентинец тоже не существовал, потому что привиделся в горячечном бреде дочери бедного скотовода, которая после такого кошмара сошла с ума и умерла, не приходя в сознание. Колесников медлил и хмурился.

— Сильный... сильный дух... давно его не было, — бормотал он, подойдя к книжному шкафу. — Что бы тут попробовать? С Гессе работал, с Кортасаром работал, а этот библиотекарь чертов... Лучше бы Джойс, право слово, или Пруст, на худой конец, против этих Мельников-Печерский отлично шел... А, ладно,

была не была! — Он сделал повелительный пас в сторону изящного коротышки и гробовым голосом продекламировал:

*— Дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щеки,
И разнеси по свету семена,
Плодящие людей неблагодарных!*

Здесь, однако, произошло неожиданное. Коротышка встал и лихорадочно быстро заговорил, не открывая глаз, не выходя из транса, но бурно жестикулируя:

— Как, разве вы не знаете? Никакого Шекспира не было, это плод коллективной мистификации французского библиографа прошлого века Пьера Менара и его аргентинского приятеля Хереса де Пуэльяра! Об этом можно прочесть в единственном сохранившемся томе энциклопедии литературных курьезов, которую выпускал в Антананариву сумасшедший исследователь древних языков...

— Эк его разобрало-то, — сокрушенно покачал головой сосед Коркина, плотный мужичок с хитроватым лицом. — Активизировался...

— *Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит,* — пожал плечами Коркин.

Как ни странно, эта цитата, произнесенная вполголоса, произвела на борхесомана совершенно потрясающее действие. Он мелко затрясся, и глаза его стали медленно открываться.

— Продолжайте, продолжайте! — яростно зашептал Колесников.

— *Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить,* — напел Коркин.

На словах «*так природа захотела, почему — не наше дело*» изящный коротышка вдруг испустил

из всего своего существа облако пыли, словно его выбили, как старый ковер, принадлежавший упомянутому знатоку восточных языков. Запахло старой бумагой, зубным эликсиром и плесневым грибом. Из рта одержимого выполз маленький книжный червь и в горестном недоумении шлепнулся на пол, где его тут же раздавил торжествующий Колесников.

— Спасибо, голубчик! — горячо обратился он к остолбеневшему Коркину. — Сам бы я ни за что не додумался! Как подействовало-то, а? Непременно в следующий раз попробую это же против Кафки, а то Маяковский, подлец, берет через раз...

— А Маяковского, Коля, чем берешь? — спросил молчавший доселе Катышев.

— Вертинский неплохо шел до последнего времени, — отозвался экзорцист. — Но сейчас, Миша, чистый Маяк — редкость неслыханная. Он теперь в компании с Летовым, с панк-роком, а что с Гребенщиковым делать, я вообще ума не приложу. Только Шевчуком и спасаюсь, да еще если Кобзона включить — сразу вылетает. Совершенно не терпит патриотической песни.

— То-то он, говорят, выпускает диск — песни Кобзона в своем исполнении, — вставила очухавшаяся брюнетка. — Вертинского пел, Окуджаву пел... Теперь за классику принялся. Только слова меняет: «И Будда такой молодой, и Кришна всегда впереди...»

Подошла очередь хитроватого. Он начал было читать описание какой-то бурной оргии на вилле у нового русского, и Коркин слушал его с большим понятным интересом, но на

словах «его тридцатисантиметровое чудо по самые гогошары вошло в податливую жаркую плоть Вероники» Колесников решительно прервал пациента.

— Это дух древний и сильный, — сказал он серьезно. — С одного раза вряд ли. Кроме того, в умеренных количествах он даже полезен, но у вас, дорогой, неумеренное количество. Это уже, знаете, приапизм. Спать! — И хитроватый растекся в кресле.

— Что-нибудь целомудренное? — подсказал Катышев. — Может быть, «Девушка пела в церковном хоре»?

— Жалко на Баркова такие стихи тратить, — покачал головой Колесников. — Барков хорошо изгоняется, знаете, патриотической лирикой. О любви к Родине — замечательно идет. Ну-ка... *Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь...*

Брюки хитроватого натянулись в известном месте. Он плотоядно оскалился.

— Ну-ну, — успокаивающе проговорил Колесников. — Что-нибудь поспокойнее... *Разве можно забыть этих русских мальчишек, пареньков, для которых был домом завод? Забота у нас простая, забота у нас такая: жила бы страна родная, и нету...*

Не успел он дочитать «других забот», как в воздухе послышалось словно хлопанье огромных крыльев, запахло неприличным, мелькнула розовая задница, послышался раскатистый хохот и громовое многоэтажное ругательство. Брюнетка покраснела. Хитроватый сразу осунулся, словно сдулся. Он казался постаревшим.

— А он после этого будет мочь? — не совсем по-русски спросил испуганный Коркин.

— Мочь — будет, — успокоил Колесников. — Насчет сочинять — не знаю. Надеюсь, что нет. Ваша очередь, молодой человек. Почитайте.

Коркин преодолел мучительный стыд, которого обычно не испытывал на публичных, всегда успешных чтениях, и начал:

— *Как ни странно звучит, но теперь уже, дорогая, несмотря на все твои письма, увы, когда я вспоминаю тебя — то почти уже беспристрастно, ибо время, всегда побивающее пространство, лечит все; и когда, как Овидий или Гораций, я сижу с полным ртом сравнений в тени акаций, то моя душа, в пустоте воспаряя к Богу, обглаживает любовь, как куриную ногу.*

Не дослушав, Колесников засуетился, забежал по приемной, дергая себя за бороду и потирая лоб. «Сложно, сложно, — бормотал он про себя, — глубоко проник, да и дух сильный, нешуточный... Чем бы его... чем бы...» И в этот момент он неуловимо напоминал Коркину фельдшера из «Хирургии», который выбирает между щипцами и козьей ножкой.

— С вами придется без гипноза, молодой человек, — сказал он наконец Коркину. — Без вашего усилия ничего не выйдет. Либо вы по собственной воле освободитесь от этого рабского влияния, либо он так в вас и останется, лучшие годы отравит. Сосредоточьтесь и усилием воли исторгайте его из себя. Вам же лучше знать, где он сидит! А я помогу...

И Колесников четко прочел:

— *Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,*

*Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца...*

Коркин ясно чувствовал, что внутри у него что-то морщится и подергивается, как от укулов, но не сдается. Рот наполнился едкой горечью. Глядя прямо в глаза поэту, Колесников перешел на более мощное средство:

*— Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные злые дожди...*

Дух внутри Коркина заметался, но тут же заглушил голос экзорциста начальными строчками «Памяти Жукова», которые громом отдались в ушах молодого литератора. «Универсальный, черт», — краем сознания сообразил Коркин, но Колесников не сдавался.

*— В закатных тучах красные прорывы.
Морская чайка, плаваний сестра,
Из красных волн выхватывает рыбу,
Как головню из красного костра.*

Дух скривился, заставляя скривиться и Коркина, и отозвался цитатой из «Нового Жюль Верна». На лице Колесникова выступил крупный пот, на лбу ижицей вздулась вена.

*— Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.*

Дух взорвался в ушах Коркина строчками «Рождественского романса», заглушившими даже следующий колесниковский залп — «Балладу о рыжей дворняге» Эдуарда Асадова. На такие тексты он не реагировал вообще.

Но тут, чувствуя переломный момент, вмешался Катышев. Он пружинно вскочил на ноги

и, уставив прямо в Коркина указующий перст, напористо и быстро затараторил:

— *Драмкружок, кружок по фото,*

А мне еще и петь охота!

А что болтунья Лида, мол,

Это Вовка выдумал.

А болтать-то мне когда?

Мне болтать-то некогда!

Коркин на миг потерял сознание. Он очнулся от резкого и сложного запаха, сочетавшего в себе крепкий табачный перегар, послевкусие граппы и гнилье прилива. Пахнуло каменной сыростью и тухлой водой канала. Послышался осенний крик ястреба, картавое тьяканье чаек, и сноп искр вырвался из коркинского рта. Блаженное опустошение овладело поэтом, как если бы он свалил со спины пятидесятикилограммовый мешок цемента. Демон с шумом ввинтился в потолок, слегка опалив известку, и запахи пропали. Колесников вытер пот.

— Молодец, Мишка, — сказал он после паузы. — Как же я сам-то не догадался?

...Легкость и радость не покидали Коркина на обратном пути, когда он, оставив Катышева распивать чай с экзорцистом, торопился домой. Предварительно они с брюнеткой обменялись телефонами под предлогом последующих консультаций насчет последствий лечения. Брюнетка при ближайшем рассмотрении оказалась очень даже ничего себе. Вдвоем они сволокли хитроватого в такси и расстались до ближайших выходных. Коркин ликовал, глядя, как в конусах света под фонарями резвится морось. Дружелюбный троллейбус, наполненный

светом, проплыл мимо и разделил его радость. Двое совершенно счастливых влюбленных, не сводя друг с друга глаз и поминутно спотыкаясь из-за этого, шли по Бульварному кольцу, сиявшему витринами. Дома Коркина ждал заботливо приготовленный матерью рождественский гусь.

«Гусь — это прекрасно, — думал Коркин, машинально подыскивая рифму. — Гусь... гусь... влюблюсь!»

— Молодой человек! — услышал он слева от себя. Прелестная девушка в ярко-красной куртке протягивала ему сигарету и спички. — Попробуйте наши фирменные сигареты «Казбек люкс» и знаменитые спички того же названия!

— Вы... вы девочка со спичками? — потрясенно выговорил Коркин.

— Типа того, — кивнула она.

— Так пойдете ко мне! — воскликнул он. — Вы же замерзнете!

И они пошли к нему. Но это уже совершенно другая сказка.

ИЗ ЦИКЛА «ВАРВАРСТВО»

1. ПРЕДМЕТ

1

Предмет был обретен в 2308, в последний год допредметной эры, в пятый день божественной Седмицы. Его отдал Тхутху Первому неуклюжий, мало на что годный, неспелый человек из чужих мест, называвший себя Пингвингстоном. Произнося это дикарское имя, он смешно ударял себя в безволосую грудь стыдного цвета. Сколько он ни подставлял тело солнцу, но истинной спелости достигнуть не мог. Питаться им побрезговали. Он служил для забавы.

Было даже странно, что Пингвингстон обладал таким прекрасным, можно сказать, священным предметом. Подобная вещь не могла достаться ему по заслугам, ибо какие заслуги у чужеземца? Правда, в Предании, предусмотревшем решительно все, находилось объяснение и этой причуде Бграбгра: старики помнили завет — «Нужное придет через ненужное, великое через малое». Вот оно и пришло. Немудрено, что, увидев Тхутху Первого и осознав его величие, странный уродец смиренно поднес Предмет верховному правителю племени.

Губы прищельца при этом широко раздвинулись, обнажив ряд мелких кривых зубов. С такими зубами настоящий джамбо не добился бы

даже звания воина, а уж странствовать одного его бы никогда не отпустили. Показывая жалкие зубы, чужестранец надеялся умиловить Тхутху Первого, словно расписываясь в своей непригодности даже к достойному наказанию. Если бы у какого-нибудь джамбо были такие зубы, он не посмел бы показать их не то что правителю, а и последнему джинго.

— Это это вот, — сказал мелкозубый на отвратительной смеси джамбо и своего варварского наречия. — Вот это быть твой, твоя. Я дать, идти. Надо быть туда. Ты взять, хранить твоя голова моя Пингвингстон.

Только вопиющей неучтивостью и непрошибаемой тупостью Пингвингстона, приехавшего из своего чужеземья набраться разума у джамбо, да так ничего и не понявшего, можно было объяснить его тхиу-тхиу — состояние разума, при котором ослепленный безумием полагает, будто у верховного правителя есть время и силы хранить в своей голове что-либо, кроме своей небесновосходящей родословной и свода законов племени. Тхиу-тхиу бывает присуще низшим чинам и рубщикам хижин, полагающим, будто они смеют тревожить повелителя просьбами. Втолковать чужеземцу столь тонкое понятие невозможно, для него, вероятно, и слов нет в варварских наречиях непропеченных племен — и потому Тхутху Первый не приказал немедленно удавить Пингвингстона лианой, а снисходительно принял из его рук маленький тяжелый Предмет.

— Быть польза, — сказал Пингвингстон, жестом попросил Предмет обратно и показал, какая именно от него бывает польза.

Тхутху Первый пережил в эту секунду одно из сильнейших потрясений за все свое шестидесятилетнее правление, — он начал править еще во чреве матери. Не каждый день случается Откровение, и никогда не знаешь, через кого оно явится. Он проделал с Предметом то самое, что делал Пингвингстон, и с первого раза получил результат. Это чрезвычайно обрадовало путешественника. В соответствии с варварскими обычаями своего племени он издал громкие лающие звуки и широко открыл пасть.

— Это быть окей! — воскликнул он. В его дикарском наречии слово «окей» заменяло множество тонких понятий, служа то выражением униженной просьбы, то одобрения, то испуга; «Окей, окей!» — повторял он, помнится, когда Мбанга, оруженосец царя, собрался немного поучить его манерам.

— Ты мочь, видеть? Ты делать!

Деликатно пропустив мимо ушей непристойный лай чужестранца, верховный правитель спросил:

— Отчего ты, презираемый шакалами, брезгливо пощаженный гиенами, не дал мне прежде этого божественного Предмета, хотя слоняешься здесь уже три луны, препятствуя нашему племени длить свою Тхаллу?

Путешественник развел руками:

— Я смотреть, как вы делать сами. Если я дать, вы делать через эта штука. А я иметь долг понять, как вы зазывать Бханга.

Тхутху Первый понял, что ради удовлетворения своего ничтожного любопытства путешественник спокойно наблюдал за церемони-

ей вызова Бханга — сложнейшей из церемоний джамбо; надо было долго, очень долго крутить между ладонями деревянную тхунжу, зажатую меж двумя тхунжами поменьше, и только тогда, снизойдя к усилиям верховного жреца, умиловленный Бханга сходил к племени и широко, жарко являл свою силу. Удержать его трутом удавалось не всегда, порой он бежал от дождя, порой засыпал сторож — жрецу приходилось умиловливать Бханга два-три раза в течение одной луны... и Пингвингстон вместе со всеми джамбо наблюдал за процессом, — тогда как волей Бграбгра обладал способностью вызвать Бханга одним щелчком!

— Недоволен тобою, — скупно сказал Тхутху Первый.

К этому ничего не требовалось добавлять, обычно любой подданный, услышав эти слова, уходил в темную глубь джунглей, чтобы уже не возвращаться. Но Пингвингстон принял эти слова за выражение скорби по случаю его отъезда, проявив тем самым возмутительную хтумпхту — самообольщение, свойственное чужеземцам в сезон засухи. Объяснить им это заблуждение было невозможно: хтумпхту — слишком тонкое понятие даже для простых джамбо.

— Я быть верну себя, — закивал Пингвингстон, смаргивая слезы. — Я быть прийти еще, принести вещи удивить ты! Еще видеть меня, стать мой друг, — и много еще чепухи на его родном языке.

Разумеется, даже если бы он и пожелал вернуться, он не нашел бы уже и следа стоянки

джамбо, ибо племя не любило долее пяти лун сидеть на одном месте; выполнив свое назначение, Пингвингстон мог проваливать хоть в желудок крокодиловой матери.

2

Путешественник исчез, и больше его в самом деле никто не видел, — а джамбо продолжили свою жизнь по новому летоисчислению. Важной его особенностью стало то, что в пятый день божественной Седмицы отныне запрещались какие-либо действия, включая даже собирание кореньев: каждому джамбо надлежало лежать под сенью священного дерева Агора-оэ и размышлять о божественных Предметах. Любое действие в этот день расценивалось как кощунство, а совокупление запрещалось до окончательного угасания божественного Бханга.

И в год второй по этому летоисчислению случилось то, что чуть было не положило начало новому календарю: Предмет перестал действовать, или, вернее, впал в состояние кхекхе, для которого и пришлось специально вводить это тонкое понятие. Кхекхе — такое состояние Предмета (или племени, или единичного джамбо, или всего мироздания), при котором функционировать в полную силу уже невозможно, но искра былого могущества еще сохраняется. У человека кхекхе бывает следствием болезни или старости, но у Предмета, как у сущности божественной, не могло быть старости. Да и что такое полтора года?! Тут дело было в грехах, исключительно в грехах, о чем

и сообщил племени верховный жрец Мтутси, известный таким благочестием, что даже совокуплялся не иначе как четырежды в год, только при условии полной тсулли и сотворив многократную бгрвану.

— Видите это?! — кричал он племени, высоко подняв над головою магически иссякнувший Предмет. — Видите ли вы, дети дикобразов, подражатели обезьян, гнилозубые джинго?!

Племя недовольно зароптало. Оно могло еще снести сравнение с обезьянами и дикобразами, но называть их именем их главного врага не смел и самый целомудренный жрец.

— Божественный Предмет иссяк! — кричал Мтутси. — Божественный Бханга не приходит больше на зов Предмета, хотя ранее являлся по первому щелчку! В последнее время он не всегда являлся даже и по третьему, а теперь только бледная искра озаряет собою беспробудную ночь нашей будущности! Молитесь! Молитесь всемогущему Бграбгра, умерьте пищу и прекратите совокупления! В совокуплениях расходуете вы энергию Тпрутпру, привлекающую Бханга! Довольно совокуплений! Два месяца воздержания — и к божественному Предмету вернется сила!

Племя послушалось Мтутси, поскольку за время своего жречества он совершил по крайней мере одно бесспорное чудо. Пусть ему ни разу не удалось вызвать дождь или, напротив, прекратить его, когда Пхлюпхлю обиделся на джамбо и плакал от обиды четыре месяца подряд, размывая джунгли и вызывая простуду; но Мтутси совокуплялся четырежды в год, а это

само по себе такое чудо, что любые манипуляции с дождем бледнеют перед этим. Если бы Пхлюпхлю обладал человеческой тхаррой, то есть способностью испытывать благоговейный восторг перед людскими деяниями, он плакал бы над подвигом Мтутси непрерывно. К счастью, у богов своя тхарра, и плачут они непредсказуемо.

В течение двух последующих месяцев джамбо воздерживались, и сам Пхлюпхлю разрыдался, глядя на их благочестие. Он рыдал неделю и две, и охота стала невозможна, а плоды сгнили, и никаких развлечений, кроме совокупления, у джамбо не осталось — а Предмет все пребывал в состоянии кхекхе, ограничиваясь бледной искрой, да и та высекалась теперь с неприятным скрежетом, словно Предмету надоело, что его беспокоят по пустякам. Способ Мтутси оказался плохим, неудобным, бхребхре способом. В племени скопилось столько энергии Тпрутпру, что оно двинулось к жилищу верховного жреца и немедленно излило бы избыток энергии в общем совокуплении с ним, после чего Мтутси мог сразу перейти в божественное состояние, но его спас гонец джинго, явившийся на Поляну сбора прямо в своей безвкусной раскраске.

— Люди джамбо! — воскликнул он визгливым голосом, отличающим всех джинго. — Оставьте бесполезный бунт и обратите свою Тпрутпру в правильное русло. Мы знаем, отчего ваш Предмет утратил божественную Предметность. Отдайте его нам, и вы увидите, как божественный Бхунгу — ошибочно называемый

вами Бханга — явит свою тхлюллю с прежней яркостью и жаркостью.

Верховный жрец Мтутси, заметив, что дело принимает непредвиденный оборот, вылез из своей хижины и обратился к гонцу джинго со столь отборной бранью, что джамбо переглянулись и простили ему многое. Все-таки он был настоящий святой.

— Почему же вы, гиений послед, испражнение больной черепахи, желчь гусеницы, полагаете, что имеете особое право на Предмет, который сам Бграбгра руками недостойного чужеземца вручил нашему судьбоносному правителю? — закончил он свою речь, вошедшую в поговорку. Любой, кому удавалось удачно ответить собеседнику, хвастал в кругу родственников: «И тут я отделал его, как Мтутси джинго!»

— Не трать даром Тпрутпру, — отвечал гонец, непристойно ослабившись. — Если бы ты чаще совокуплялся, седая вошь, клянусь, ты говорил бы меньше глупостей. Божественная сила оставила Предмет потому, что он находится в неправильных руках. Ничтожный чужеземец должен был отдать Предмет нашему правителю, молниеносному Мгбрумгбру Шестому, потому что мы должны были стоять на этой стоянке восемнадцать лун назад. И тогда мы владели бы Предметом, а вам достался бы Пфупфу.

Люди джамбо могли стерпеть многое, но от такой наглости схватились за копья. Мтутси остановил их праведный гнев повелительным жестом.

— Каждый мужчина джамбо и без того имеет Пфупфу, — ответил он с великолепной язвительностью. — Если мужчины племени джинго не имеют Пфупфу, это их проблемы. — И, сбросив травяную бхтамптху, Мтутси продемонстрировал потрясенному гонцу великолепный Пфупфу, не истертый частыми совокуплениями. — Мы были тогда на своем месте и занимали свою стоянку, а если вы прощелкали своими клюкю и не поспели к божественному откровению, вам остается поедать свои кхакха!

И, комически присев и натужившись, Мтутси изобразил, как именно джинго должны делать кхакха. Племя джамбо замерло в ужасе. Это означало войну.

Ритуал кхакха считается у джинго особенно священным и обставляется массой условностей — джинго проявляют при этом чудеса терпения. Во-первых, никто не смеет делать этого в одиночку — ибо слишком частое кхакха оскорбительно для взора Бгрубгру, как называют они верховное существо; все племя собирается для кхакха единожды в сутки. Во-вторых, перед каждым кхакха верховный жрец джинго произносит часовую молитву-извинение, прося прощения у Бгрубгру за то, что племя сейчас осквернит его взор и обоняние; недержание кхакха карается немедленной смертью. При всей своей ненависти к джинго люди джамбо не могут не оценить их верности ритуалу и стараются не оскорблять его даже во время непрерывных взаимных перепалок. Если Мтутси посмел осмеять кхакха — значит, он вызывал джинго на бой.

Гонец понял это. Некоторое время он стоял в немом оцепенении, потом резко повернулся и ушел в чащу. Он шагал, высоко поднимая костистые дхартха и размахивая жилистыми тхертхе, — так идет человек, несущий весть о войне.

3

Первый Предметный поход отделялся от второго всего двумя лунами. Джинго не могли смириться с неудачей, тем более что несколько раз они были буквально в шаге от Предмета, — первый Предметный поход совпал с переходом в совершенное состояние божественного Тхутху Первого, съевшего слишком много древесных грибов. Человек не может съесть столько древесных грибов, это под силу лишь божееству — каковым Тхутху Первый и сделался, освободившись предварительно от всего кхакха, какое в нем было. Его старший и любимый сын Баубау Первый не растерялся и дал джинго отпор столь достойный, что еще две луны им неповадно было и думать о реванше. Однако в начале третьей луны они вооружились легкими копьями, запаслись отравленными стрелами и приступили к второму Предметному походу, закончившемуся для джамбо трагически. Предмет был не только похищен, но и поврежден. Во время генерального сражения, когда за обладание Предметом дрались Мтутси и Нстухни, из предмета выпал крошечный твердый камешек вроде кремня, после чего перестала высекаться даже искра. Бграбгра и Бгрубру окончательно отвернулись от своих несчастных подопечных.

На второй Предметный поход джамбо спустя пять лун ответили Предметным походом детей. Расчет их был прост: в бою джинго явно научились превосходить джамбо. Закаленные ритуалом кхакха, обладающие нечеловеческим терпением, воины их не знали усталости, никогда не испытывали постыдного хрумхрум и унижительного кхекхе. Вернуть Предмет можно было лишь силою хитрости — выставив против воинов такую силу, которой они не посмели бы сопротивляться. Пойти на избиение агуагу могли только законченные фуфу. Рисковать жизнью своих агуагу племя может только в крайнем случае, в период великого хныхны и действительно грозной опасности — но попробуйте представить себе, что такое жизнь без Предмета, тяжкая, унылая беспредметная жизнь! Не зная Предмета, еще можно без него обходиться; но обладать предметом и утратить его — непосильная кара для народа, еще вчера вызывавшего Бхангу одним щелчком.

И джинго в самом деле не решились истребить агуагу — они просто взяли их в плен, превратив в свою прислугу; об этом поведал самый хитрый агуагу, сумевший бежать к своим через ночные джунгли, находя путь по предусмотрительно оставленным кхакха. Дело в том, что сразу после пленения агуагу джинго снялись со стоянки и ушли вглубь джунглей, и если джамбо хотели вернуть своих, нагонять их следовало быстро.

Так джинго сделали то, что не прощается, — и началась Вечная Война; вечная — ибо ис-

ходом такой войны может быть лишь полное истребление противника. А поскольку джинго все время ставили себе цель вести себя хуже, чем джамбо, — джамбо в ответ задались целью вести себя хуже, чем джинго, и в конце концов наперегонки устремились к состоянию фуфу. Впрочем, ни одна воюющая сторона уже не помнила столь тонких понятий — разве что верховным жрецам эти слова еще что-то говорили.

Война, однако, велась по строгим правилам. Джамбо строго соблюдали Пятый день божественной Седмицы. У Джинго был свой праздник воздержания от каких-либо действий — Шестой день Божественной седмицы, в который в ходе второго похода был обретен Предмет. В этот день Джинго лежали под деревом Алоха-уэ, размышляя о своих воинских подвигах и о жертвах, принесенных ими ради обладания Предметом, и были легкой добычей: джамбо могли их бить сколько угодно — они не имели бы права сопротивляться. Штука в том, что джунгли велики и труднопроходимы, а потому, прежде чем истребить беспомощных джинго, их еще надо было найти. Это же касалось джамбо, умудрявшихся в пятый день божественной Седмицы как-то так рассредоточиться по джунглям, что сам божественный Бханга не сразу нашел бы их с небес огненным глазом. Правда, в седьмой год нового календаря джинго все-таки нашли стоянку джамбо в пятый день и вырезали почти всех; объевшись на радостях, они не смогли уйти далеко, и в шестой день остатки джамбо вырезали

почти всех джинго. Для восстановления войск понадобилось десять лет — все это время война велась с прежней интенсивностью, но далеко не в прежнем масштабе.

Прервать Предметную войну хотя бы на миг значило предать Предмет. Джинго обращались с ним не просто неправильно, а кощунственно. Так, они вырезали из дерева скульптуры, на которых Пингвингстон вручал предмет их вождю Мгбрумгбру Пятому, что было, во-первых, исторически неверно, а во-вторых, теологически оскорбительно. Изображать Пингвингстона нельзя было уже потому, что Пингвингстон выступил в этой ситуации орудием Бграбгра, а Бграбгра, равно как и его орудия, изображению не подлежат. За одно это всех джинго следовало бы истребить до девятого колена, но еще ужасней было то, что они пытались проникнуть в божественный Предмет с намерением, о смешные недоумки, исправить его! Как человек может исправить то, что сломано Богом в наказание за наши грехи?! Но тот, кто надеется объяснить что-либо глупому джинго, сам не умнее ничтожного джинго. Надо дожидаться Пингвингстона — ведь он обещал вернуться. Он придет и во время своего второго пришествия расскажет всем, кому подарил Предмет. И верные возликуют, а неверные устыдятся.

Война тянулась уже двадцать лет с регулярными перерывами на пятые и шестые дни божественной Седмицы, когда войска бездействовали, а работали только разведчики. Несколько раз их поиски увенчивались успе-

хом, но в таких случаях, как назло, счастливицы, обнаружившие стоянку чужих, не могли на обратном пути найти своих. Божественный Предмет переходил из рук в руки, задерживаясь у каждого из племен не более седмицы. Джан-ти, джойнты, дженни и другие племена, населяющие джунгли, наблюдали за вечной битвой джамбо и джинго со смесью тхулле и тхилле.

4

В седьмой день божественной Седмицы, служивший в мирное время для отдыха и развлечений, молодой разведчик джамбо, известный под именем Змееда, лакомился молодыми зелеными кваква на поляне близ ручья. Дело было после трудного боя, во время которого джамбо, вот уже неделю обладавшие Предметом, доблестно отбили очередное нападение джинго. Личному составу разрешено было оправиться и поесть.

Змеед упрыгал вглубь джунглей за одной особенно юркой, хоть и жирной кваква, когда услышал позади себя на поляне два подозрительно знакомых голоса. Он сразу узнал их — у разведчика должна быть хорошая память. Разговаривали престарелый Мтутси и его коллега из племени джинго, преемник старого Нстухни, унаследовавший его имя.

— Здесь нас никто не услышит, Мтутси, — самонадеянно заметил юный Нстухни.

— Если же и услышит, то не поймет, — отмахнулся Мтутси.

— Ты принес?

— Разумеется.

Змеед, затаившийся в кустах, не поверил своим глазам. Мтутси достал из складок бхтамптхи божественный Предмет и протянул Нстухни бесполезную матовую святыню.

— Утром я скажу им, что Предмет похитили ваши разведчики во время ночного набега. Сам же себе нанесу свежие раны.

— Ты отважен, Мтутси, — уважительно заметил Нстухни.

— На многое приходится идти, чтобы не прервалась божественная Тхалла, — сухо ответил старик.

— Согласен с тобою, — кивнул молодой жрец. — Война есть лучший способ длить божественную Тхаллу. Глупые дженни, безумные джойнты и самодовольные джанги не знают божественной Тхаллы, а потому обречены вечно оставаться дикарями. Тогда как мы продвинутые люди.

— Да, — признал Мтутси. — Для этого не жаль никаких жертв. Только мы, жрецы, умеем поддерживать божественного Бхангу и после того, как Предмет перестал вызывать его.

— Воистину, — поклонился джинго. — Бхтумпф!

— Бхтампф, — поправил Мтутси и стремительно исчез.

Змеед укусил себя за палец и подумал, что все это ему приснилось. Нельзя есть слишком много кваква, от них и мысли начинают прыгать куда не надо.

Второе пришествие Пингвингстона, о котором так долго грезили джамбо и джинго, несколько запоздало. Он двадцать лет собирал деньги на новую экспедицию, а когда собрал — сам был уже не тот. Ему оказалось непросто найти то самое место, на котором он прощался когда-то с обаятельным, доброжелательным вождем открытого им дикарского племени. Он написал у себя на родине десять книг об этом племени, но они не принесли ему денег — никто не верил в существование бродячих племен в джунглях, а доказательств у него было мало. Лишь на двадцать первый год он проплыл по великой реке к тому месту, где, казалось ему, он высадился когда-то, — но никаких следов джамбо и джинго в джунглях уже не было.

— Я клянусь вам, что это тут! — чуть не плача, повторял Пингвингстон.

— Очень может быть, — снисходительно кивал Гаттерас, представитель спонсора, приданный Пингвингстону для освещения сенсации. — Но сейчас здесь нет никаких следов человека.

— Я ведь обещал им вернуться, — шептал Пингвингстон. — Неужели они не дождались?!

О причинах исчезновения джамбо и джинго Пингвингстону путано рассказал случайный джанти. Пингвингстон почти не понимал языка джанти, ибо даже наречие джамбо освоил с трудом. До него дошло только, что джамбо таинственно исчезли, а вместе с ними и джинго, их главные и любимые соперники. Их пожрала

таинственная Тхалла — джанги и сам, кажется, не очень понимал, что это такое. Но если неспелый человек пожелает, он может увидеть причину всего. Пингвингстон пожелал. Его отвели на стоянку джанги. Маленькие агуагу, как называли их некогда джамбо, играли небольшим тяжелым предметом.

— Господи! — выдохнул Пингвингстон. Перед ним лежала его верная «Пиппо», давно уже не разжигавшая ничего, кроме национальной розни. Да и та закончилась.

— Я забрать это? — робко спросил Пингвингстон.

— Мне по пфыпфы, — пожал плечами джанги, что означало «пожалуйста».

Пингвингстон нагнулся было за предметом — дети равнодушно посторонились, — но в последний момент отдернул руку. Предмет, за который умерло много народу, обладает темной аурой даже после того, как погиб его последний защитник.

— Ладно, — сказал Пингвингстон. — Я не быть хотеть, не нуждаться. Играть, не бояться. Я иметь много такой предмет.

2. ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ МААТСКОЙ ОБИТЕЛИ

1

Инспектор нашел учителя на огородах и понял, что он все знает. Да и не дурак же он был, в конце концов. Разговаривать при подопечных

обоим не хотелось, но учитель оттягивал беседу — вероятно, трусил. Начались ненужные отсрочки, оттяжки, демонстрация теплиц, «а вот у нас цитсы», хотя цитсы испокон веков росли тут сами, без всякого ухода. Колонисты смотрели виновато, словно тоже догадывались. Прошли неприменный маршрут: медпункт, школу, рекреацию, солнечные часы на центральной площади, гигантские, с орнаментами, — учитель суетился и повторял все, что инспектор выслушивал ежегодно: успехи в социализации, рост числа добровольцев, подготовка к выпуску, который на этот раз будет отмечен фейерверком... Инспектор кивал, кисло улыбался и под конец разозлился: какого черта! Для чего ставить друг друга в заведомо неловкую ситуацию! Прислали бы другого — он бы крикнул просто: разойдись, и через два дня памяти не было бы ни о какой колонии. Он устал ходить по жаре и чувствовать себя виноватым, начал многозначительно кашлять и наконец предложил пройти в учительскую.

— Но мы же еще не видели танцы, — заюлил учитель, — мы хотели вам показать танцы...

— У меня времени мало, — сказал инспектор.

— А, ну да, — пробормотал учитель, сразу сдвувшись. — Да, пойдете, конечно.

В канцелярии работал кондиционер и стоял кулер. Инспектор выпил залпом два стакана ледяной воды, надеясь смыть с языка вкус мерзкого столовского компота, и решительно сказал:

— Ну, в общем, как вы понимаете, лавочка закрывается.

— То есть как, — без особого удивления сказал учитель, пытаясь имитировать шок.

— Да вот так. Дольше этот бардак терпеть нельзя, позавчера похитили еще троих, и все, между прочим, новобранцы.

— Хорошо хоть не в праздник, — помолчав, сказал учитель.

Ночь на послезавтра была особая, праздничная, — середина весны, Бааста, воскрешение верховного божества. Праздник был древний, полузабытый, отмечающийся только для туристов, — в колонии его не праздновали, но помнили.

— Двое суток вам на ликвидацию, послезавтра в это время придет бронемашина, и поедете. Сколько у вас педсостава?

— Все те же, — сказал учитель. — Пятеро плюс врач.

— Вот и готовьтесь.

— А они? — спросил учитель.

— Эти-то? Пойдут к своим. Желающие могут перебежать к нам, если будут, конечно. Что-то мне подсказывает — не будет.

Учитель глядел в стол. Инспектор понимал, что он подыскивает аргументы и что аргументов нет, все тысячу раз повторены и никого не убедили. Через три дня тут будет расчистка, останавливать ее бесполезно, и лучше всего было не затевать эту программу с самого начала. Он так и сказал.

— Лучше было вообще сюда не ехать, — сказал учитель.

— Ну опять, — беззлобно ответил инспектор. — Сколько можно.

— Но прав-то я! — крикнул учитель. Инспектор на всякий случай выглянул за дверь, не подслушивают ли. От хитрых скотов, которые тут еще и разбаловались, всего можно было ждать. — Прав-то я! Если вы скатываетесь к варварству, будьте готовы, что вас там встретит варвар. Настоящий, а не такой, как вы. Настоящему вы всегда проиграете. Вы сначала встанете с ним на одну доску, спуститесь к нему в яму, а в этой яме он вас сожрет, потому что это его среда.

— Слушайте, охота вам, — незлобиво протянул инспектор. Он все еще не давал себе воли.

— Но признайте, что я был прав. Только это. Ничего уже не сделаешь, только признайте, и все.

— Ну а в чем правы? В чем вы таком правы-то?

— Что вы кончите, как они. Что у вас нет выхода, кроме как стать ими.

— Да что вы ерунду городите? На всякого варвара есть пушка.

— У варвара тоже пушка.

— Разумеется. Надавали всякие на свою голову, вроде вас. Но он потому и варвар, что не умеет ее чинить и никогда не сможет изобрести другую. Так что как раз до ямы лучше ему не доводить.

— Но это их земля, — сказал учитель и поднял глаза. — Их земля. Надо уж тогда честно называть себя конкистадорами и мерить другой меркой. Без всяких этих претензий на цивилизацию.

Инспектор хотел сказать, что давно и нет никаких претензий, как и никакой цивилизации,

что все это лицемерие осталось в прошлом веке, что так называемая цивилизация спокойно смотрела, как их народ в третий раз за столетие выжигали каленым железом, и тысячи собирались на демонстрации «руки прочь от убийц!», а особо хитрые представители диаспоры в голос выли, что к ним теперь из-за агломерата хуже относятся и даже, страшно сказать, увольняют с работы. Инспектор всей душой ненавидел диаспору: хиленьких, хитреньких программистиков, брокеров-дилеров, интеллектуалов-импотентов, получивших шанс стать народом и испугавшихся этого шанса. Любой, кто мог стать джугаем и остался хеграем, заслуживал всего, включая новое истребление, если оно случится. Учитель-то ладно, он честно приехал на зов, наравне с другими осушал и перепахивал болота, забыв про два высших образования, — но он был святоша, из породы исусиков, а время исусиков кончилось, по крайней мере в болотах. Инспектор его даже жалел, а потому и спорил не в полную силу: смешно доказывать очевидное человеку, который все понимает. Да еще и дело у него отобрали. Ничего, пойдет в школу.

— Это не земля, — терпеливо сказал инспектор. — Конкистадоры шли за золотом, за всяким какао. А мы пришли на болото, и болото у нас зацвело. Теперь они говорят, что это их земля. Какого черта, где они были тысячу лет? На, возделывай! А они с вашими техниками, с нашими инструментами возделывать не могут. Я же вижу эти ваши теплички.

Теплички были, конечно, ударом ниже пояса, но сколько можно.

— Вы просто не знаете, — говорил учитель вполголоса, без напора, как спорят люди, понимающие, что от спора уже ничего не зависит. — Вам кажется, что единственно возможное устройство мира — это агломерат. Но у них куда более сложный мир, вы просто не видите его. Я не понимаю, как можно в этом веке говорить о прогрессе. Видели, куда ведет прогресс. Все успехи агломерата... вы сами знаете... только на фоне краха двух мировых систем, сиамских близнецов, в общем. Это все был прогресс. Мир варвара организован... как эти солнечные часы: вы скажете, что они проще наручных? Для вас проще, но наручные вы сделать можете, а сделать, чтобы ходило солнце, — увы. Я знаю, вы скажете, что солнце без них ходит. Это верно, но они его приспособили, а вам оно только мешает, я вижу, как вам на нем тошно.

Это тоже было ниже пояса. Инспектор приехал с северных территорий, первую половину жизни прожил в отвратительных сосновых лесах, где был, кажется, единственным хеграем на сотню квадратных километров и полной ложкой жрал ненависть, которая за неимением сородичей доставалась ему одному.

— Мне не на солнце тошно, — сказал он, закипая. — Мне у вас тут тошно, где миндальничают с убийцами. С ефрейтором позавчера, практически мальчиком, такое сделали, что в части не знают, как матери писать. Три часа отрезали по куску. Новобранцев будут зубами рвать, а вы тут цветочки садить?

— Ну вот только этого не надо, ради Бога! — простонал учитель. Любой спор о варварах

давно состоял из повторений «вот только этого не надо». Надо признать, цивилизаторы были априори слабей истребителей, поскольку истребитель в некий момент непременно говорил: «А вот нашего мальчика позавчера...» — и мальчик непременно находился. После этого можно было только переводить спор на следующий уровень — и заявлять, что вообще не надо было... но если сами вы уже здесь и никуда не едете — кой черт в таком аргументе?

— А почему не надо? — не уступал инспектор. — Как надо? Танцы с ними танцевать? Фейерверки? Я вообще не понимаю, как вы тут три года тратите государственные деньги, а решение вопроса, серьезно говоря, один десантный полк.

— Решали уже десантным полком, — почти прошептал учитель, и это тоже было ниже пояса.

— Гуманно решали. Сейчас по-другому будем решать. Короче, чтобы через два дня, когда придет машина...

— Да я понял уже, — сказал учитель. — Вы только скажите: двадцатого?

— Этого я сам не знаю. А и знал бы, не сказал.

— Скольких я могу взять с собой?

— Мой вам совет, — сказал инспектор, понизив голос и сразу успокоившись, — никого.

— За совет спасибо. Но все-таки?

— Одного, — сказал инспектор. На самом деле и это было вранье, но насчет одного он мог в столице переговорить.

— Хоть поужинать останьтесь, — сказал учитель, криво улыбаясь.

— Я эту кухню не люблю.

— Да у нас по-всякому умеют. Не хуже, чем в столице.

— Не могу, — замотал головой инспектор. — Что хотите. Я даже когда баклажаны у них ем — мне все кажется, что человечина.

— Это как же, — задумчиво сказал учитель, — все рестораны варварской кухни закроют? «Закон джунглей» на набережной?

— Почему, — пожал плечами инспектор. — Ничего не закроют. Ассимилированные пусть живут, программа ассимиляции действует. Вот займетесь, если хотите. А бандитье — увольте, хватит бандитья.

— Да-да, — сказал учитель. — Ну, увидимся.

Уезжая, инспектор обернулся: он так и стоял на крыльце администрации, в красной глинистой пыли, исусик. Инспектор слегка раскаивался. Все-таки не надо было с ним так уж. Особенно стыдно было разводить про наших мальчиков. Он отлично знал, как развлекались на территориях наши мальчишки.

Красная маатская дорога пылила, джип трясло, вдоль дороги тянулись рисовые поля, потом пошли уродливые, перекрученные деревья — пейзаж был инспектору ничуть не родней, чем треклятые северные сосны, а когда справа показалось алое закатное озеро, все окончательно сделалось инопланетным. Перед сумерками инспектор всегда тосковал — примет людей, неуверенных в собственном праве на жизнь, клятое наследие северных лесов:

промежуточные состояния природы тревожат их, резонируя с вечной внутренней неустойчивостью. Будущего нет, думал он, сама земля вытесняет. Они могли осушать и перепахивать ее сколько угодно, но понятно же было, что она никогда не станет своей. И арифметически было очевидно, что миллион джугаев среди трех миллионов варваров, вдобавок неостановимо плодящихся, обречен, как любое воюющее меньшинство: меньшинством хорошо быть, когда ты хеграй, носитель идей, возбудитель, бродило, когда тебя можно сколько угодно ненавидеть, но остатки древнего страха мешают окончательно истребить. Тогда тебя унизят, наплюют в рожу, но сохранят жизнь, а если и не сохранят — мир велик, отыщется щель укрыться... Те же, кто более не желал щемиться по щелям, съехались сюда, на древнюю землю, откуда их разогнал когда-то гнев Господень, но съехались, как он понимал, на гибель, и тактика учителя, ныне явно позорная, могла в перспективе оказаться разумнее десантного полка. Среди всех аргументов, которых он наслушался, — тут тебе и гуманизм, и мир смотрит, и диаспора — серьезен был один, но перевешивающий многое. В прошлую инспекцию — сколько переменилось за год! — учитель сказал: как вы не видите, что нормальное состояние всякой нации — диаспора? Этим кончат все, это и сейчас уже так. Как всегда, мы этого состояния достигли первыми — и променяли его все на ту же почву, сделав шаг назад, а это не прощается. Только рассеяние, распыление, связанность верой и тайным родством...

это будущее для всех, отказ от любых изначальностей, а на что это променяли мы с вами? На болота? Инспектор еще возразил: неужели вы считаете, что все имеют право на территорию, на армию и государство, а мы — нет? Учитель махнул рукой, уже и тогда мало веря в пользу подобных столкновений, но в конце концов он был самым вменяемым из левых, а инспектор — самым терпеливым из правых, как было не поспорить... «Это все равно как если бы птица спрашивала гадов: почему вы все имеете право ползать на брюхе, а мне не дано?». Не договорились, но разошлись мирно. В те времена похищали солдат еще не каждую неделю и не рассаживали своих детей по крышам школ и больниц, доходя до последней, ничем уже не замаскированной варварской подлости. Спорить, зря или не зря съехались, не было больше смысла. Теперь надо было идти до конца. Хуже нет, как играть по правилам с тем, кто плевать хотел на самую идею правил. От озера тянулось мерзкое зловоние. Дураки, что не решились начать в праздничную ночь. В джунглях наверняка празднуют, посты сняты, веселятся внаглую — тут-то и накрыли бы. Нет, и здесь миндальничают. Были же в штабе трезвые люди, требовали начать ровно в Баасту — но кто же из джугаев слушает другого, все самые умные...

Инспектор думал, что, пожалуй, не увидит больше учителя. Что-то в нем сегодня было такое. Жаль, что он не сможет приехать через двое суток. Через двое суток он будет уже на территориях, в тылу, среди фальшиво ревущих, закутанных в черное баб, у каждой в подполе

пулемет, в рукаве нож, в джунглях муж. Бог весть, вернется ли, но в худшем случае прихватит многих. Какая пошлость, подумал инспектор, какая смертная тоска.

2

Известие о том, что колония закрывается, учитель встретил с тайной радостью, в какой признавался себе одному, и то угрызаясь: он знал, что дело мертво, но никому не спустил бы таких слов. Ликвидация позволяла сохранить лицо: сопротивлялся до последнего, но есть логика войны. Только идиот мог еще до начала, на стадии проекта, не предугадать дикого фарса, в который мирное перевоспитание превратится немедленно: в колонию хлынули, во-первых, слабаки и ничтожества, которых били свои же, — и за дело, — а во-вторых, явные паханы, решившие пожировать на харчах мирового сообщества.

В письмах к дочери он подписывался теперь Робинзоном — слава Богу, что жена сбежала и увезла ее на второй год: все было как на острове — дикари, беспомощный цивилизатор и выгнанный из дикарского сообщества Пятница, от людоедов отставший, к цивилизации не приставший. Пятниц было, по пословице, семь, и все они были так глупы, зловонны и ни к чему не годны, что учитель сам едва удерживался от рукоприкладства. Они липли к нему, старались услужить, ночевали на веранде его дома — доверие доверием, а дом охранялся. Счастье, что в столице его не послушались и прислали взвод

для охраны и хозработ: варвары не снисходили до труда. Мушщина, пояснил ему Бааф, ковыряя в зубе, — мушщина не может пачкаться в земле. Вы возделываете, ну и возделывайте. Вы не мушщины, вы плесень на земле, и мы вас в нее притопчем, говорил Бааф, пожирая ветчину, присланную мировым сообществом. Ва-а, вы презренны! Когда приезжали журналисты, Бааф был звезда, и в самом деле, какая фактура! Огромный, жирный, от глаз начинается чернушная, мелкокурчавая, положенная по вере борода. Только здесь, говорил он медленно, усиливая акцент, только здесь мы понимаем, что значит быть циви... ливи... зивилизованным человеком. Только здесь, с нашим учителем (снисходительно хлопал по плечу, сдавливал шею, и чувствовалось, как легко может свернуть ее насовсем), с этим па-адвижьником, слушай, мы понимаем сполна, что нам на самом деле несет агломерат. Атлична! Очень атлична! Сам тут жить буду, детям завещчаю, детям детей завещчаю. Хорош был также Коол: если Бааф не участвовал в экзекуциях и брезговал избиениями, то Коол — кадыкастая шея, козлиная бороденка, серьга, — был главным мучителем Пятниц: шутки его плохо кончались. Учитель не сомневался, что Сууфа — единственного из слабаков, посмевшегося взбунтоваться, — забил до смерти именно он, но доказательств не было, ибо варвары были варварами и своих не сдавали. Это джугаи вечно спорили, а варвары, даже из Пятниц, не понимали, как можно сказать на своего.

Учитель ничего не мог поделаться с тайной неприязнью, а то и ненавистью к Пятницам.

Человек устроен так — впрочем, может, это только наше, но разве мы не концентрат человека, не предельное его выражение? — что сильный и убежденный враг ему милее корыстного и слабого друга; что искательная дружба исправившегося дикаря ему подозрительней и тошней откровенной вражды лесных и горных; а сильные его не уважали, ибо силы-то за ним и не чувствовали.

На следующий день после отъезда инспектора учитель отправился на ферму. За коровами ходили солдаты из хоззвода. Маал и Гооп курили трубочки у крыльца, усевшись на корточки. На корточках варвары проводили большую часть дня. Бывший руководитель учебной части, большой знаток и любитель варварства, сбежавший через семь месяцев, пояснял учителю, что это поза метафизическая, молитвенная, что варвар в этой позе напряженно удерживает связи между предметами, сохраняя мир от распада. Откуда он это взял — не объяснялось: темно намекал, что указание на это есть в «Санине» — мифическом варварском эпосе, которого никто не слышал, только в горах остались два сказителя, помнящие три песни, но так как петь их можно было только при западном ветре, в определенной фазе луны... Варвар больше всего делает, когда ничего не делает, учтите это, говорил завуч, собственно, и драпанувший после того, как на него, утопавшего в болоте, неподвижно, сидя на корточках, полчаса смотрел Яук. На крики завуча прибежали солдатики, кое-как вытащили, хотя еще бы чуть — и был бы повод присвоить колонии его труднопроиз-

носимое имя (он, как это называлось в первом поколении, «взошел» из Латинской Америки). Яук на дознании показал, что была пятница третьей луны — священный день, начальник; в этот день никакое действие нельзя, в особенности на болоте. Религиозное обоснование находилось у варваров на любое дело, в том числе на попытку изнасилования волонтерши-медсестры. После этого учитель категорически прикрыл волонтерство — жалкий, чего уж там, извод былой пассионарности. В первом поколении все еще верили, что удивят дряхлый мир и построят в джунглях рай, во втором надо было эту веру заменять, и народились волонтеры с их истерикой: у самих дома больные старики, но лечить своих — разве миссия? А любить себя за что-то было нужно, без этого уже не могли: диаспора пять веков любила себя за то, что она диаспора, джугаи в первом поколении гордились тем, что перестали быть хеграями, а этим что досталось? Пошло истерическое самопожертвование, и Гаак напал на девочку семнадцати лет, некрасивую, слабенькую, — как женщина она его, разумеется, не привлекала, чистый садизм. Учитель тогда впервые применил оружие, в чем не раскаивался. Гаак, однако, не обиделся и даже, кажется, на пару дней зауважал. Самое же удивительное, что и с простреленной ногой он отказался покинуть колонию: какие горы, начальник? Я инвалидный теперь! В горах-то надо было либо стрелять, либо пасти скот, а тут он прекрасно себя чувствовал. Что напал — извини: мы люди горные, у нас в третью луну бывает особый пост

баабах. Каждый вечер надо. А что остальные не соблюдают — так извини, начальник, вырождается народ. Совсем ваши затеснили. Древние обычаи кто блюдет? — только наш гааковский род, от первосвященника Гаабаха. Убил бы своими руками, но сообщество взбунтовалось: мы не для того спонсируем колонию, чтобы учитель распускал руки. Дело учителя — учить.

Он не знал, как их учить. Что было сейчас сказать Маалу и Гоопу, курящим у крыльца? Методики для обучения варваров не существовало, ибо само пребывание в колонии, устроенной захватчиками, считалось у них позором. Как во всяком архаическом сообществе (тоже дурацкий термин, ибо архаика предполагает модернизацию, а варвары намеревались оставаться варварами вечно), позор этот был делом двух категорий, двух крайностей: сюда могли отправляться либо изгои, туда им и дорога, либо привилегированная и втайне ненавидимая каста: паханы, воры. Их, разумеется, чтили и все такое, но в лесах и на горах не любили, нет. Бааф мог сколько угодно грозиться, что, если не прибавится мяса, он уйдет — куда бы он ушел? Пристрелил бы первый пастух из настоящих партизан. Разбойника уважали для виду, потому что боялись, а так-то он был личность презираемая: уважали только бойца, убийцу, истинного зверя, каким был Ваа-Сим, пристреленный в прошлом году. И пристрелили-то его по-дурацки, когда этот отважный воин, горный барс, грабил храм; то есть и тут не было доблести. Учитель давно знал, что научиться от варваров ничему нельзя, что всякие ожидания

варваров — великая глупость, что собственное их варварство — давно уже пустая оболочка, в которой все выедено червями, да и было ли? Ведь варвар — всего-навсего тот, кто в любой ситуации делает наихудший выбор, и никакой великой культуры, никакой связи с природой за этим нет. Разве в том смысле, что природа тоже из всех вариантов выбирает самый ползучий.

После бессмысленного разговора: «Доброе утро, начальник! Вот работаем, начальник!» — и все это не поднявшись даже для виду, — учитель отправился в классы. В первом занимался Туут, личный его ординарец и камердинер, взятый в услужение не потому, что умел услужить, а потому, что иначе бы его забили. По-хорошему надо бы увозить его. Он точно не жилец, в любом бою убьют первым. С чего, однако, мы взяли, что спасать надо слабейшего? До этого дорос прогресс, это и губило сейчас так называемую цивилизацию, отпадением от которой так гордились джугаи. Учитель не хотел брать Туута, Туут был ему противен — в особенности липкой услужливостью, грубой лестью, откровенной трусостью (до сих пор ничего не мог с собой поделаться, обильно пускал газ при виде Баафа). Учитель с трудом удерживался от того, чтобы Туута поколотить: он ронял посуду, прожигал утюгом одежду, однажды при попытке стготовить учителю настоящий саамат (настоящий, учитель! Такой, как в джунглях! Эти все не умеют, а мы родом повара!) чуть не сжег избу.. Еще один волонтер, очкарик из провинциального университета (три факультета, сто три-

дцать человек, научный центр, ты что!), уверял, что именно с этих слабаков и начнется великая культура: «История показывает, это, что культуру делают, это, отвергнутые варварами маргиналы, они единственные, так-скть, у кого мотивация к окультуриванию». Как все теории, эта выростала из личного опыта — должно быть, били в детстве, он и придумал, что изгой движут миром, тогда как от изгоев толку еще меньше, чем от пассионариев. Чумоход и есть чумоход. Куда Туут сдвинет мир? Мир движут те редчайшие одиночки, которых травят вовсе не за слабость и тупость, а превентивно, чтоб не выросли, не набрались сил и не поставили раком существующий миропорядок; и им травля только на пользу — вырастают приличные люди, но не среди варваров же. Среди варваров, кажется, был такой один, и его бы спасти... его бы... но об этом будет еще время подумать.

Туута учили решать задачи. Как все варвары, он не мог сосредоточиться ни на одном предмете долее, чем на пять минут, — у детей это к семи годам проходит, у варваров никогда, и это-то пытаются выдать за родство с природой, тоже вечно пребывающей в движении. В случае Туута к этой хронической рассеянности прибавлялась неуместная туповатая игривость, которой он надеялся расположить учителей к себе. Два яблока да три груши, сколько всего тебе дали? Учитель, я не люблю груши! Я люблю цитсы, учитель! Цитса — ты знаешь, для чего хорошо цитса? От цитсы (краснеет, хихикает, плохо изображает смущение) бууб растет во-о-о! Давай так: было две цитсы, дали еще две цитсы,

какой тогда бууб? Но и во время всех этих игр на дне его глаз плескался ужас, потому что в соседнем классе, тоже в одиночестве, занимался Бааф. Он рассказывал словеснику, как пять лет назад лично освежевал сержанта, приехавшего в деревню варваров раздавать гуманитарную помощь.

— Теперь не тот я стал, — умиляясь себе, говорил Бааф. — Старый стал, дедушка стал...

Когда учитель, заглянув на уроки, вышел, Бааф нагнал его на крыльце.

— Слышь, учитель, — сказал он. — Ну, ты слышал, чего этот-то приезжал?

— Обычная инспекция, — сказал учитель, поправляя очки: этот жест всегда придавал ему уверенности, как инспектору — незаметное прикосновение к кобуре. — И в прошлый год было.

— Ты мне в уши-то не лей, умник, — сказал дедушка Бааф. Когда поблизости не было журналистов и гостей, он говорил почти без акцента. — Когда начнется?

Или у них шпионаж, или подслушивал. Как же так, ведь инспектор проверял...

— Мне не докладывают.

— Врешь, учитель. Врешь. Однако бууб с тобой, я тебя сейчас не убью. Ты нужный пока. — Он гоготнул. — Одного забрать можешь, да? Ну, ты понял, конечно, кого забрать можешь?

— Я не знаю, о чем ты говоришь, Бааф, — сказал учитель твердо и посмотрел в золотистые варварские глаза.

— Говори как знаешь, ты учитель, не я, что мне учить тебя, — страшной скороговоркой

сказал Бааф. — Но ты понял, учитель, да? В город меня возьмешь, понял? Я в город поеду, расскажу всем, как ты нас тут учил хорошо, кормил хорошо... Тебе большой прибыток может быть. Тебя в любую за границу возьмут. Будешь там всех учить. Тебе так-сяк, все равно бежать. Тут, если война пойдет, жизни не будет. Ты не знаешь, я знаю. У наших пушки есть, люди есть, все соседи помогут. Вам воевать нельзя, вам, если воевать, всем ахма будет, земля гореть будет. Вот и поедешь в за границу, меня возьмешь. Будешь людям показывать, какой ученый. Я для такое дело буквы выучу, ты понял, учитель?

— Иди учиться, Бааф, — сказал учитель.

— Но ты понял? — повторял Бааф, крючковатым пальцем цепляя его за пуговицу.

— Руки убери, — спокойно сказал учитель.

Бааф помедлил, потом нехотя опустил руки.

— Пока твоя власть, — сказал он. — А как ты, не дай Бог, меня не понял, я тогда тебя, как того молодого, по куску...

На крыльце у столовки две варварские девчонки, смуглые, чудовищно грязные, накладывали многослойный грим: и коробки с тушью, и тюбики помады, и наборы теней были у них той же дикой грязноты. Девчонок употребляло полдеревни, они свободно уходили из колонии и возвращались отъедаться, учитель ничего не мог с ними сделать, да и лучше уж легально, на виду, чем будут с ними ныкаться по огородам... У них был фотоаппарат, подаренный месяц назад французской журналисткой, посетительницей. Седовласая, восторженная левачка, штайнериенка, идиотка. Заглядывала повсюду,

повторяла: magnifique! Теперь эти, рисуя себе рожи, снимали друг друга, потом фотографировались вместе, держа указательные пальцы во рту и недвусмысленно посасывая. Смотрели на изображение — на это их хватало, поразительно легко осваивали технику, — ударяли по рукам и кричали: манифик! Это продолжалось, видимо, не первый час и не надоедало.

— Учитель, посмотри! — закричала одна.

— Красивые мы? Хочешь любиться? — закричала другая.

— Манифик! — завизжали они хором.

3

Учитель направился домой — там было все-таки прохладней, и надо было, если лавочка закрывается, систематизировать документы, а кое-что уничтожить; обучения не вышло, но наблюдения имели смысл. Он прошел мимо пасеки, огородов, полузаросшего детского городка для варварят — детей в колонии не было, родители не пускали, а изгои и разбойники не обзаводились семьями, — и возле мертвого кострища, где еще неделю назад разводили бессмысленный костер дружбы, увидел Арвина.

Имя было не варварское, с ударением на первом слоге, и говорили, что Арвин вообще втерся обманом, но трогать его боялись. Говорили разное. Говорили, что он из тех, древних, кого якобы поработили первые джугаи и держали в повиновении до тех самых пор, пока их не рассеял гнев Господень; от тех, древних, почти никого не осталось, а нынешние варвары были

так, жалкое потомство. Говорили, что он из высокогорных, умеющих плавить камни и словом осушать реки. У варваров непонятно было, где ложь, где миф. Арвину могло быть и двадцать, и шестьдесят. Он приходил и уходил, когда хотел. Учитель взял бы его, это решение он принял сразу, ибо только в Арвине мерещилось ему временами человеческое. Арвин ничему не учился, но знал и буквы, и песни. На учителя он глядел сострадательно, но без высокомерия. Иногда он исчезал на месяцы, и учитель беспокоился о нем. Сейчас учитель подсел к нему, чертыхнувшись про себя, — он так и не выучился сидеть на корточках, но разговаривать с Арвином стоя было бы неправильно.

— Арвин, — сказал он. — Я завтра уйду отсюда.

— Знаю, — сказал Арвин, не поднимая глаз.

— Хорошо бы ты ушел со мной.

— Куда? — ровно спросил Арвин.

— В большой город. Я думаю, что здесь нечего больше делать.

— Нечего, — так же ровно сказал Арвин.

— Ты пойдешь со мной?

— Куда?

— Я же сказал тебе, — терпеливо повторил учитель. — В большой город.

— Ты не пойдешь в город, — сказал Арвин.

— Почему? Ты что-то знаешь?

— Ничего не знаю, — сказал Арвин.

— Ну ладно, как хочешь. Хочешь загадками — давай загадками. Но все-таки пойдём.

Арвин поднялся — гибкий, тощий, грязный, в сложных татуировках, смысла которых не по-

нял никто из заезжих этнографов: абстрактная живопись, не иначе.

— Я один хожу, — сказал он, — ни с кем не хожу.

— И хорошо. В городе тоже будешь ходить один.

— В городе зачем? Я могу здесь один. Кто ходит один — какая разница, где?

Акцент у него был странный, носовой, не варварский.

— А я почему не уйду? — спросил учитель.

— Хочешь — уйдешь, хочешь — не уйдешь, — пожал плечами Арвин и пошел прочь от кострища. Учитель опять ничего не понял, но это был единственный человек в колонии, которого ему интересно было не понимать.

— Постой, — крикнул он. — Скажи, я тебя все спросить хочу.. Ты правда из древних?

— Каких древних? — ровно спросил Арвин.

— Из тех, что были до местных.

— Никого не было, — сказал Арвин. — Древних не было. Всегда так было.

— А откуда ты тогда?

— Всегда тут был, — сказал Арвин и пошел дальше.

До ночи учитель разбирался с бумагами, отвлекся только, чтобы похлебать кислого молока. Все-таки кое-что сделано, на книгу хватит. Немного успел записать от Сууфа, мир праху; побольше набормотал Туут, идиот, но по крайней мере ясна стала космогония — примитивная, традиционная, но с любопытными нюансами вроде богини скуки... Интересней всего были предания о тех, древних, настоящих — но

в каждой архаической культуре, как он догадывался, жило представление о настоящих древних, по сравнению с которыми все мы, нынешние, ничто. Это был, скорее всего, результат демагогии вождей, вечно попрекавших варваров былым величием: так родители говорят — мы в ваши годы... Прочее было дрянь, методические наработки в особенности.

Давно упала ночь, и сопел в предбаннике Туут, выставив на коврик перед кроватью ночные туфли — учитель сроду не пользовался ими, но Туут ставил и, случалось, по часу выравнивал, подправлял, подчиняясь лично выдуманному ритуалу; без ритуалов вообще ничего не делалось, но если разбойники на них забивали, то чумоходы выполняли все, бесконечно придумывая новые, затрудняя до невыполнимости простейшие действия. Наконец установил, полюбовался, ушел; исчезло мешающее присутствие. Учителю надо было хоть пять часов в сутки быть одному — записывать, вспоминать, думать при других он так и не научился, а в колонии был на людях с рассвета до полуночи. Шугать Туута было бесполезно — он прокрадывался обратно и клялся, что не заснет, если не закончит установку: тангры, учитель, тангры. Танграми звались злые духи, вселявшиеся в оставленную одежду. Была варварская легенда о самостоятельно гуляющих сапогах.

Перед уходом Туут робко обратился с вопросом — был уверен, что учитель обожает просвещать, и потому, чтобы нравиться, надо как можно больше спрашивать. Видимо, он что-то чувствовал, потому что спрашивал теперь о городе.

— Учитель, а город ночью светлый?

— Светлый, — кивнул учитель, не отрываясь от записей. В городе все придется оцифровывать, местный комп вечно ломался, чинить было некому, — журнал наблюдений он вел от руки, как Крузо.

— А звезды видно? — после паузы спросил Тутт.

— Все видно. Зачем тебе звезды, гадать, что ли?

— Гадать, учитель. А машина ходит?

— Много машин. Иди спать.

— Да, иду. А по проводам ходит?

— И по проводам ходит.

— А по железу ходит?

— И по железу. Спокойной ночи.

— Да, ночи... Ночи, учитель.

— Иди, иди.

Засопел из предбанника почти сразу, засыпал мгновенно, с сознанием исполненного долга. Как же — тангров отвел, туфли установил, вопросы задал.

Как их учить, думал учитель, и надо ли их учить... Ясно, что вся наша методика тут пасует. Жить с ними в их деревнях, как пробовали миссионеры? Бред, народничество. Там они сильней, там торжество их правил очевидней. Перевозить в города? Будет как с девчонками — научатся краситься, фотографироваться, и манифик. Убивать? Но пробовали. Есть единственный путь — он много думал об этом, не позволяя себе, однако, договаривать до конца. Перед ними можно было умереть, это они бы поняли. Смерть была единственным языком, на котором они говорили. Тот, кто умрет

перед ними, докажет, что говорил дело. Ценна только вещь, за которую умерли. Это заставит еще не задуматься, но остановиться. Так сказать, встать с корточек. Дальнейшее — дело времени, но вопрос весь в том, кто...

Он не сразу понял, что все началось, или, правильной говоря, кончилось. В колонии и прежде взрывалось — Коол украл у девчонок баллон аэрозоля и шутки ради подложил в костер. Но загорелся один дом, другой, и все стало ясно.

Они не стали ждать до послезавтра.

4

Учитель выбежал из дома, вслед за ним с ночными туфлями в руках бежал и визжал на смерть перепуганный Туут.

— Учитель, надень, учитель! — верещал он.

Административное здание уже горело, другой снаряд разворотил теплицу. Как же так, думал учитель, зачем они присылали инспектора, мы же ничего не успели. Нельзя начинать в Баасту, теперь это никогда не кончится...

Жухнуло совсем рядом, он упал, рядом шлепнулся Туут.

— Конец неба, конец неба, учитель! — завизжал он и дальше визжал уже на варварском, которого учитель так и не вызубрил из-за обилия синонимов для каждого понятия, из-за ползучих звуков, обилия гортанных неотличимых гласных и взрывных согласных, на которых спотыкался язык.

Еще два снаряда разорвались за колонией, ближе к джунглям. Учитель тяжело встал, с него посыпалась земля. Туут сел на четвереньки.

— Ай, куда бежать, куда бежать, — причитал он.

Надо было спасать людей, но с кого начать — учитель не понимал. Варварские обычаи требовали начинать со своих, но кем он был бы, следуя варварским обычаям? Он бросился к варварским избам, но остановился на полпути — снаряд угодил в общежитие педагогов. Учитель в ужасе смотрел, как медленно разлетаются горящие бревна. У него заложило уши. Он видел, как со стороны поля приближались бронемашины — тоже медленно, словно давая привыкнуть. Из них постреливало. Красная пыль клубилась в свете фар. Туут хватал учителя за ноги.

От варварских изб тяжело бежал Бааф. Издали он грозил учителю и чего-то требовал, но слух не возвращался. Вероятно, Бааф был недоволен тем, что все началось раньше. Теперь учитель не мог забрать его с собой и показать иностранцам. Плохо теперь дедушке. Учитель успел подумать, что это хорошо, даже отлично.

Надо было бежать, но не очень понятно, куда. С поля накатывали бронемашины, от изб бежал Бааф, а издали стреляла артиллерия — новый снаряд упал аккуратно в центр бывшей костровой площадки. Вот, подумал учитель. Это и есть то образование, которое я сейчас могу им дать. Ведь только что сам говорил, как надо их учить. Это мой шанс. Надо только сказать что-нибудь.

Но прежде чем их с Баафом накрыло одним и тем же взрывом, он успел понять, что, в общем, все уже сказано.

Арвин уходил в джунгли, не оглядываясь. Когда далеко позади ухнул первый взрыв, он замер ненадолго, но потом еще решительней пошел вперед.

Он знал, что происходит и что будет. В ночь Баасты далеко видно. Он знал, что учитель, погибший в ночь Баасты, будет объявлен бессмертным и станет воскресать во всякую Баасту, и многим духовидцам встретится во плоти, и наговорит глупостей. Он знал, что Баафа объявят его правой рукой, сторожем рая, и что в обители, которую тут выстроят три века спустя, главным храмом будет храм святого Баафа. Он знал, что одумавшиеся варвары, которые в этой войне размолотят и пустят по ветру джугаев, будут виновато чтить величайшего джугая, Учителя, который ушел от своих, чтобы принести свет детям лесов и гор, — и что изображения учителя будут висеть в каждой избе. Он знал даже, что предателем маатской колонии объявят Туута — просто потому, что уж так был устроен Туут: на него сыпались все шишки.

Все это было неинтересно.

Он знал, что от имени учителя будут твориться все добровольные жертвования и все публичные казни, что его именем завоюют соседей, что его именем назовут главную площадь, главный университет и главный застенок каждого города; и что для уцелевших джугаев, снова рассеянных по миру, не будет более ненавистного имени.

Это тоже было неинтересно.

Бааста выдалась славная, мир вокруг него дрожал и сверкал от невыносимо напряженных связей. Высоко восходил серебряный Треугольник — созвездие весны, созвездие свежего холода. Стебли тянулись к нему, и каждый говорил. Арвин слышал хор существ, благоволение болот, звон множественных причудливо вырезанных крыльев.

Это было интересно.

Он шел все быстрее, и лес смыкался за ним.

СИНДРОМ ЧЕРНЫША

1

Сначала была клиника неврозов, потом центр Морозова, потом опять клиника, уже другая, и все говорили — нормально, легкий случай, затем держали три недели, пожимали плечами и выписывали. Все было нормально, ела, пила, разговаривала, но не могла работать, не умела заставить себя по утрам встать с постели и сварить кофе, а по ночам сплошные слезы, никогда бы не смогла поверить, что в одном человеке может быть столько слез. Дело было уже не в Черныше и не в аборте. Что-то такое из нее вынули, без чего человек перестает держаться. Она со всем возможной доходчивостью объясняла это отцу, брату, профессору Дымарскому, молодому и славному человеку, перед которым ощущалось даже нечто вроде вины: десятый час вечера, домой давно пора — нет, он сидит с ней и ведет разговоры. Дымарский уверял, что поступает так из чистого эгоизма — твой случай, говорил он, войдет в историю. Ведь ты здорова. Ты самый здоровый человек в районе, а не только в клинике. Я могу заколоть тебя препаратами до полной обезлички, ты будешь, как Самсонова, видела Самсонову? — Кивает. — Нет, не кивай, ответь словами: видела? Хочешь, как она? Никакой

депрессии, очень довольная, имя только забывает, а так полный о'кей. Между прочим, домашние уже на все согласны. Но я-то вижу. Я вижу, что ты абсолютно в себе, не надо мне косить под психическую, я психических повидал. Была бы ты парень — я понял бы, классический случай, армия впереди. Но тебе не грозит армия, от тебя требуется только собраться, это как в детстве перестать плакать, хотя хочется хныкать еще. Один раз глубоко вдохнула и пошла жить, Господи, люди теряли детей, родителей, проходили через Освенцим, что я тебе рассказываю, ты все знаешь, это позорная распушенность, в конце-то концов! Как было объяснить Дымарскому, что Освенцим не утешает, наоборот. Прежде ужас мира можно было переносить, хотя он торчал отовсюду: жалко было выброшенную газету, которая не успела все рассказать, сломанную ветку, не говоря уже про облезлую елку, которую она в марте, в первом классе, нашла на свалке и пыталась воткнуть в землю. Земля же влажная, вдруг приживется. Жаль было всех, всегда, но была какая-то защита. Теперь пробили дыру, и вся та влага, которая обволакивала душу, как околоплодные воды, весь этот защитный слой, который был как желточный мешок у малька, — все вытекло, и защита лопнула, и нечем залатать. Хорошо, говорил Дымарский, хотя она ничего не говорила. Допустим, это я понял. Прости, ляпнул сдуру. Конечно, не утешает и ничего не дает. Но вообразим невообразимое — заметь, я с тобой откровенен вполне, постарайся и ты так же. Хоть я-то тебе не кажусь монстром? Нет, вы не кажетесь. Отлично: тогда вообразим, что он

вернулся. Это что-нибудь изменит? Он был готов к любой реакции — слезы, гнев, — но она только улыбнулась: нет, что вы, что вы, что вы. Это все равно, как — она не подобрала сравнения, но он понял: все равно как предлагать вернуть Елену на пятый год Троянской войны или Судеты в разгар Сталинградской битвы. Поздно уже, какие Судеты.

Ну вот что, сказал Дымарский отцу. Я вам советую сейчас не кипешиться и набраться терпения. Если честно, скорей уж вы мой пациент, чем она. Вам я могу помочь, а ей нет. Можно внушить человеку, что жизнь переносима, и подкрепить это таблеткой, но нет такой таблетки, которая объяснит, зачем она вообще нужна. Мы все, если угодно, ходим по тонкому льду, но этого не помним, а она вспомнила, причем после первой же трещины. На самом деле жить нельзя, это я вам как врач говорю, но если живем — надо соблюдать какие-то конвенции. Вот с ней не соблюли эти конвенции, и она теперь не понимает, как можно существовать вообще, когда — ну, что я вам объясняю... (Он видел, что отец не понимает: человек действия, привык, что из любой ситуации есть конкретный выход, а если нет, надо доплатить.) Я вам предлагаю больше по клиникам ее не таскать, только хуже сделаете. Она вся сейчас без кожи и не желает ею обрастать. Это случай не медицинский.

— Может быть, гипноз? — невпопад спросил отец.

— Поймите, тут никто посторонний ничего не сделает, — с тоской произнес Дымарский. — Это она, она сама себя должна загипнотизи-

ровать. Как гипнотизируем мы, вы, я, любой на улице встречный идиот. Каждый с утра, в первую минуту пробуждения, чувствуя, так сказать, бремя мира, внушает себе, что жизнь приемлема. У нее сломался клапан, который за это отвечает. Он может заработать, попробуйте возить, развлекать, ни в коем случае не навязываться, потом, может быть, вернется интерес к учебе, интеллект не поврежден, годы ее позволяют надеяться, восемнадцать лет... Я буду приходить, наблюдать, телефон у вас есть, звоните в любое время, но от лечения, честно вам скажу, лучше воздержаться.

Отец, конечно, не поверил, и была еще одна клиника — как она догадывалась, на пределе средств — элитная, в районе Профсоюзной, неподалеку от больницы Академии наук. Палата на одну, с телевизором — санаторий, а не клиника. Знаменитый профессор, на которого вся надежда, старый, длинный, сухой, все больше молчал. Он решился все-таки попробовать гипноз, но толку не было. За оградой начинался лесопарк, и однажды, когда она гуляла — тут гуляли без присмотра, в пределах территории полная свобода, — к ней подошел Антон, он же Черныш.

Она много раз представляла себе, как это будет, потому что в глубине души всегда знала — будет; так душа на самом дне все-таки знает, что бессмертна. Идея мести отбрасывалась сразу: отомстить никому нельзя. Если бы он пришел через неделю, еще до всего, была бы надежда на временное помрачение, с кем не случается. Если бы пришел после, когда вся семья дружно

возила ее лицом по стене — образно выражаясь, конечно, — за то, что никому ничего не сказала и пошла выскребаться, она бросилась бы к нему как к спасению от семьи, и простила бы, и обошлось. Если бы он пришел в первый месяц, была бы надежда, что связь между ними никуда не делась, он почувствовал, как все плохо, и вернулся. Но он не почувствовал, прошло четыре месяца, без нее начался учебный год, про нее уже мало кто помнил, и постепенно Черныш в ней умер, как умирает, говорят, нежизнеспособный зародыш. И если бы он пришел прежний, здоровый, веселый, излучавший счастье, она бы оттолкнула его, даже не слишком сильно, спокойно, как лодочник отпихивает бревно, — но он пришел страшный, черный, изглоданный раскаянием, изменившийся даже больше, чем она.

— Как ты прошел? — спросила она вместо приветствия и всякого выяснения отношений. Они стояли среди опавших листьев у черной холодной решетки, он боялся взглянуть ей в глаза и носком ботинка разгребал листву, и ботинок тоже был старый, обшарпанный, она никогда его не видела в таких. Кто-кто, а Черныш за собой следил. Этот ботинок сказал ей больше, чем все слова, которые он мог бы выговорить и которые застряли у него в горле.

— Я давно тут хожу, — выдавил он наконец.

— Почему?

Он молчал.

— Мне очень плохо, Черныш, — сказала она. — Я думаю, я уже никогда ничего не смогу.

— Я тоже, — сказал он и поднял глаза. В них плескалось столько боли, словно в разлуке

с ним прошло не четыре месяца, а четыре раза по четыре года, и каждый день в эти четыре года он истязал себя; и она подошла и ткнулась растрепанной головой ему в грудь. Он даже словно стал ниже ростом — теперь ее макушка приходилась ему под самый подбородок.

— Как-нибудь надо жить, да? — сказала она и почувствовала по движению этого острого подбородка, что он кивнул.

— Я убийца, — сказал он вдруг.

— Это я убийца, — сказала она. — Но они там сказали, что есть еще шанс... есть же еще шанс?

Он опять молча кивнул и обнял ее наконец, и так они стояли, пока не стемнело. Потом он ушел, но на следующий день пришел снова, и начал было рассказывать, как страшно было без нее, но она его остановила. Зачем? Чужая боль оказалась целебней любого лечения. Жить можно было опять, только бы он никуда не делся; какое глупое слово «простила». Ожила — вот это то, что надо.

Через неделю она выписалась из больницы, отец снял им квартиру, и они впервые стали жить вместе — не ночевать, а жить.

2

Первый месяц был поистине медовым, но на второй она стала замечать, что медицинская помощь, пожалуй, требовалась не ей, эгоистке и дуре, а ему. Подтверждалась старая мужская шовинистическая максима: вы чувствуете глубже, но излечиваетесь быстрее. Вы приземляетесь

на четыре лапы. Вы природнее, а потому и раны ваши затягиваются быстрее, как заплывает смолой шрам от топора на сосне. Так оно и выходило: прежний Черныш, всегда веселый и легкий, исчез безвозвратно. Всегда такой ровный, такой неуязвимый, способный взять себя в руки — да что там, не выпускающий из них! — теперь он чередовал эйфорию с беспросветной апатией, и она не знала, что хуже. Пожалуй, эйфория. Тогда его болезнь была еще наглядней: ничто так не подчеркивает уродства, как желание урод да выглядеть здоровым, на костылях поспешать за физкультурниками. Вот увидишь, говорил он, я преодолею это и смогу... я доучусь... я устроюсь, вот увидишь, мне же предлагали приличные места! В конце концов, архитектор — это сейчас нужно. Все как бешеные взялись перестраивать квартиры, и еще это... ландшафтный дизайн. Но помилуй, какой же ты архитектор? Ты учился вместе со мной на биолога, тремя курсами старше; рисование — твое увлечение, не более... Все это она могла бы ему сказать, но не говорила. Если после нескольких эскизов — славных, но аляповатых, — он считает себя художником и даже — поди ты — архитектором... Он рисовал и ее, как раньше, — в одежде, без, на улице, на балконе, — но в новой, отталкивающей манере: на этих картинах она сама на себя не была похожа. Что это? Почему раньше было столько света, а сейчас сплошная тень? Хорошо, говорил он и рисовал ее на солнце, но получалось еще страшней — беспощадный белый свет и под ним она, съжившаяся на скамейке.

— Что с тобой, Черныш? — спрашивала она.

Он устроился куда-то на работу, но когда не было заказов, часами лежал лицом к стене. Иногда она подозревала, что дело не в заказах, а в этом его отвратительном внутреннем календаре: месяц бешеной активности — два месяца сонной тоски. Она посоветовалась даже с Дымарским, когда он — из чисто научного любопытства, все человеческое старательно отрицалось — зашел навестить их. Ну вот, сказал он удовлетворенно, что я говорил. Здорово, как сорок тысяч братьев. И даже пирог — о, какой пирог! Вижу, что покупной, но как старательно разогрет! Что касается Черныша, сказал он, когда вышел с ней курить на балкон, что ж, бывает... А прежде ты не замечала? Нет, что вы, он был удивительно ровен... Ну так тем лучше, сказал Дымарский. Значит, переживает. Иногда человеку нужно переживать, а то уже почти научились спасаться от совести таблетками. Чуть что, сразу: МДП, МДП! Знаешь ли ты, глупая, что такое МДП? Это серьезное заболевание, не твоему чета. Это когда человек в маниакальной стадии от избытка энергии спать не может, а в депрессивной ему трубку поднять тяжело. Не придумывай своему красивых болезней, сегодня депрессия — самое модное слово, а он просто человек с совестью, и скажи спасибо. Спасибо, сказала она, но просто вы не знали его тогдашнего. Не знал, кивнул Дымарский, и не жалею. Теперь он по крайней мере на человека похож. Жениться не думаете? Нет, сказала она, почему-то не хочу.

После очередной неудачи — клиент сорвался в последний момент — он три ночи где-то про-

шлялся, а потом вернулся тихий и покаянный, изменив тон, прическу и профессию. Ничего, сказал он ровно, попробуем с другого конца. Не забывай, у меня есть и первое образование, незаконченное, правда, но кое-что — переводческое, английский плюс португальский, попробуем.

К такой резкой смене она оказалась не готова, но это было лучше, чем прыжки из эйфории в отчаяние и обратно. Он стал нормально спать по ночам, — правда, закурил, но от нервов чего не выдумаешь, — начал делать зарядку, искать заказы, скоро набрал, и начались невеликие, но регулярные заработки. Он с равной готовностью брался за технический, юридический и даже художественный перевод, ночами просиживал за компьютером, и — странное дело — она не жалела, что он не спит рядом. Почему-то после этого его внезапного оздоровления он не то чтобы перестал ей нравиться — что там, она его любила, ничего не могло быть проще, родней и естественней, чем любить Черныша, — но в постели все стало далеко не так хорошо, как во время депрессивно-эйфорических метаний. Сдвинулся какой-то рычажок — то ли ушла острота, то ли сам он стал, как бы это назвать, бесстрастней. Ей по-прежнему было хорошо с ним — хорошо лежать, просыпаться, готовить ему, по воскресеньям болтаться по парку, кататься на велосипедах — он очень пристрастился к велосипеду, — да и как могло быть плохо с Чернышом? Это же был он, часть ее существа, — и она утешала себя тем, что с родным в самом деле не может быть так, как с чужим, еще

новым, непривычным, вот так она образуется, привычка, нарастает новая кожа, и неужели она хотела бы прежней боли, пусть оборачивающейся иногда невыносимым счастьем? Нет, конечно. Конечно, нет.

И все-таки он стал другой, другой настолько, что Дымарский, зайдя год спустя, не узнал его. Он быстро справился с собой, но первой реакции скрыть не смог.

— Что, очень изменился? — спросила она тревожно, провожая его вниз до машины.

Дымарский смотрел внимательно и, как ей показалось, сочувственно.

— Меняются люди, — сказал он неопределенно. У него было правило — не врать, почти невыполнимое при его профессии, но он хотя бы старался.

— Я сама чувствую.

Он посмотрел еще внимательней.

— Как тебе легче, так и делай.

— В основном все по-прежнему, — уговаривала она не то его, не то себя. — Это же Черныш. Ему все-таки двадцать четыре уже. Пора остепениться, он сам говорит.

— Рановато. Мне вот тридцать восемь, лысина уже, и никакой степенности.

— Ну, какая у вас лысина...

— Обычная, — сказал он. — Как он, работает?

— Да. Но главное, больше не болеет. Зарабатывать я и сама теперь буду — вон редактором на радио звали...

— Тебя учили не этому.

— Какая разница. Сейчас все не по специальности. Скажите — вам со стороны видней, —

в чем он изменился? Я же каждый день вижу, глаз замыливается...

Дымарский снова долго молчал, стоя у своего древнего «мерса» и глядя прямо на нее.

— Потолстел, — сказал он наконец, и непонятно было, то ли шутит, то ли всерьез. Наверное, он был в меня чуть-чуть влюблен, думала она, поднимаясь в лифте обратно. Это бывает между пациентками и врачами. Главное, что мы не дали этому ходу, и теперь он подспудно завидует. Это естественно. Вид Черныша — его спины, его монитора, чашки чая сбоку от мышиного коврика — ее успокоил и странным образом слегка огорчил: какая широкая спина, подумала она, правда, что ли, потолстел?

И он словно почувствовал этот взгляд, и взялся работать над собой с таким энтузиазмом, что она впервые испугалась. Он забросил велосипед, потому что от велосипеда сутулость, и прекратились их чудесные прогулки. Зато началось прослушивание бесконечных телебесед с целителями, которых стало в «ящике» больше, чем когда-либо, словно вся страна одновременно отчаялась излечиться традиционными способами, и надежда осталась только на уринотерапию. До этого, слава Богу, не дошло, но постоянные замеры температуры, артериального давления, согласование каждого шага с врачами — все это поначалу смутно раздражало, а вскоре начало ее бесить. Она помнила, что это Черныш, тот самый, с которым она живет два года, тот, из-за которого когда-то чуть не погибла, тот, наконец, от которого она все еще надеялась зачать ребенка. Теперь он согла-

совывал это занятие с фазами луны и другими приметам, которых она не понимала. Он бегал по утрам, вместо чая пил отвары, кофе исключил напрочь и укоризненно качал головой, когда она утром приводила себя в чувство обжигающим горьким глотком, и она впервые задумалась о том, что мужчина в наши времена не может реализоваться уже ни в чем — ему остается бешеная, абсурдная забота о своем здоровье, хотя для чего беречь такую жизнь? Переводы он забросил, напросился в бизнес к другу, торговал теперь запчастями, друг был сомнительный, очень неприятный — Черныш перед ним явно заискивал, только что не приседал: ну посмотри, Рома, какая она у меня? Правда же, хороша? Рома смотрел сонно, как смотрят только самые хищные рыбы. Черныш, откуда ты взял этого Рому? Ты мне никогда раньше не показывал его. Повода не было, солнце, говорил он, и это «солнце» тоже появилось недавно — раньше был «малыш», тоже не очень приятный, напоминающий о другом, теперь уже, кажется, невозможном малыше. Но Черныш продолжал сообразовываться с фазами луны.

— Слушай, — сказал он однажды, — давай, может быть, поженимся?

Два года назад чего бы она не отдала, чтобы он так сказал; но сегодня ее даже слегка передернуло, и эта его новая манера спать в майке, которую он вдобавок не слишком часто менял...

Странней всего, однако, была появившаяся недавно привычка красить волосы. Она объяснила это себе тем, что так он убегает от чувства

вины. В конце концов все раз навсегда перед кем-то виноваты и теперь маскируются, меняют профессию, любовников, стараются выдать себя за другого. Но количество его странностей стало зашкаливать: она стерпела бы эту рыжину, искусственную, совершенно к нему не идущую, но не могла понять, почему он стал выдумывать биографию. Знаешь, сказал он однажды, вот в армии был у нас старшина... Она перебила: Черныш, какая армия? О чем ты, в конце концов? Кому ты врешь? Он смотрел, как баран: что ты, я же тебе рассказывал! Что ты мне рассказывал, взорвалась она впервые за все эти два года, как ты, идиот, мог мне рассказывать то, чего не было! Следи за собой, как женщина, простаивай часами у зеркала, крась волосы, но не ври, что ты был когда-то в какой-то армии, этого не было, кому, как не мне, знать твою жизнь! Но я военный билет тебе покажу, прошептал он. Тогда почему ты молчал?! Ты не спрашивала...

Это она уже отказывалась понимать и позвонила Дымарскому: пожалуйста, если можно, ничего срочного, но в субботу... где хотите... Он подъехал, презрительно поморщился при вопросе о деньгах, сказал, чтобы звонила при первом подозрении и даже без него, просто подружески. Ну что? А то, что у него нарастает какая-то новая личность, и я не знаю, что с этим делать. Возможно, он так бежит от сознания вины, от того, что зачать не получается... Синдром Черныша, берите название, дарю. Однако, усмехнулся Дымарский. Поначиталась литературы и понаслушалась разговоров. Какая новая

личность, с чего? Не знаю, с чего он врет, что служил в армии. Почему ты думаешь, что врет? Может, действительно служил? Но послушайте, этого не может быть. Я была знакома с его матерью... немного, еще до всего. Она меня возненавидела, сейчас мы не видимся. Но клянусь вам, что тогда он не служил, она еще говорила, как страшно было бы отдать в армию такого чистого, такого кристального... Дымарский неприятно усмехнулся. Понимаю вашу иронию, но я не могу смотреть, как близкий человек, фактически ближайший, фактически муж, фактически сходит с ума! Попроси показать военный билет, сказал Дымарский неожиданно холодно. Она вскинула на него глаза: боюсь. Боюсь, потому что тогда окажется, что он еще и билет подделывает для каких-то своих целей.

— Ооо, как все прочно, — сказал Дымарский. Она не поняла этой фразы.

— Кстати, дай ему мой телефон, — попросил он.

— Зачем?

— Мало ли. Вдруг заметит за собой странности, испугается... В конце концов, я друг дома.

Она удивилась — ей не хотелось делиться Дымарским, — но телефон дала.

3

Неделю спустя, за обедом, она вдруг перестала понимать, что он говорит.

Он пришел с работы, она в тот день была дома, писала диплом. Сварила борщ. Он ел борщ и повествовал о новостях с неожиданно тягучей,

занудной интонацией, какой она прежде у него не слышала, даже когда он рассказывал о своих невыносимых фазах луны. Какие-то шпиндели, какие-то Ивановы... Какие Ивановы? — спросила она, еле сдерживая брезгливость. Он поднял бараньи глаза: как, но ты же сама... Что я сама?! Но мы же были у них позавчера! Мы не были у них позавчера, я не знаю никаких Иванов... но тут, взглядевшись в его расплывающиеся, стремительно одрябшие черты, она зажмурилась и затрясла головой. Она не знала этого человека.

Он замер с ложкой на весу и даже, кажется, с открытым ртом, а она все трясла головой, словно надеялась вытрясти оттуда новое знание: это был не он, она его не знала, сквозь черты Черныша проглянула жуткая, пластилиновая рожа, рожа человека из спального района, какой не было и не могло быть у ее мужчины. Она слышала, что безумие меняет людей, но не так же, в одночасье. В кого он превратился? Маска молодого, пусть странного, пусть рыжего, но все еще любимого, треснула и обвалилась, как грим: за этим новым лицом стоял долгий опыт полунищей жизни, утеснений, унижений, постыдного вранья, бессмысленных стоячих застолий с мужиками в пивняке, от этой рожи пахло прогорклым маслом, он сразу стал похож на мать, Боже, как он стал похож на мать, какое дряблое, бабье из него поперло! Как она могла этого не видеть! С такого случилось бы пить мочу. И когда он робко спросил: что с тобой, киска? — этой киски она уже не вынесла, бросилась в комнату, рухнула на диван и закусила зубами подушку. Но и сквозь

подушку продолжала выть, а на все его попытки подойти отвечала таким визгом, какого и представить не могла — неужели это она сама, сама так орет? Но вообразить, что он прикасается к ней, было еще немыслимее.

Дымарский приехал через два часа, когда она уже охрипла: раньше не мог, пробки, город стоял.

— Ну, я где-то в это время и ждал, — сказал он Вите, когда она спала после укола. — Кстати, она вас так и не звала по имени?

— Никогда. Только Чернышом. Я все удивлялся, откуда эта кличка.

— Надо было мне вас предупредить, — сказал Дымарский. — А впрочем, это все равно кончалось. Очень быстро пошло.

— Все-таки я не представляю, — после паузы признался Витя. — Не могла же она в самом деле...

— Запросто могла, — убежденно ответил Дымарский. Я же говорил... правда, не вам, а ее папе... но какая разница? Мы все на одно лицо... Я говорил, что все мы ходим по тонкому льду. И если не внушать себе на каждом шагу что-то другое, а просто видеть вещи как есть — не выдержит никакой мозг, никакой рассудок... Я и ей говорил: если что-то спасет, только самогипноз. Это сильнее любого чужого. И когда к ней в клинике подошел мальчик из соседнего корпуса, банальный МДП, ерундовый, в общем, случай, — она могла заговорить с ним на единственном условии: представив, что это и есть Черныш... которого я, кстати, никогда не видел.

— Но почему вдруг на ровном месте?! — взорвался Витя. — Я ничего не делал, сидел, ел...

— Вы ни при чем, — сказал Дымарский устало. — Это как таблетка: кончилось действие — кто виноват? Только здесь она научилась сама, а резерв оказался не бесконечен.

— Но как можно жить с четырьмя, как вы говорите, мужчинами и внушать себе, что все это один и тот же?

— А зачем внушать? — усмехнулся Дымарский. — Все мы один и тот же, и я, и вы... Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли — выглядит одинаково, нет? И потом, я столько перевидал... с самыми экзотическими маниями, уж поверьте... все более или менее похоже, всем страшно, все хотят одного, иногда и правда перепутаешь... Синдром Черныша, так и назову. Я давно за этим случаем слежу, уже и описал. Теперь можно публиковать.

— А как вы думаете... — с надеждой начал Витя, но Дымарский оборвал неожиданно жестко.

— Никак не думаю, — сказал он. — Знаю. Что, красивая? Нравится? Самому нравится. Ничего не поделаешь, теперь все. Двух самогипнозов не бывает. Раньше надо было думать, дорогой товарищ, когда ребенка ей сделал и сбежал.

— Какого ребенка, куда сбежал? — лепетал Витя, но Дымарский уже отвернулся.

ЛЕТО В ГОРОДЕ

На работе получил эсемеску: «Доброе утро. Когда надоест, скажешь». Ответил: «Было бы приятно получить “хочу” и ответить “лечу”». Десять минут метался — вдруг слишком? Наконец: «Если бы я разобралась, чего хочу!» Ладно: «В таком случае мое лечу опередит твое хочу». Еще десять минут думала, наконец родила: «Допустим». Прыгнул в машину, перенес три встречи, приехал в Домодедово — был дневной рейс. Через полтора часа в городе. Звонить из аэропорта не стал, приехал прямо в квартиру. Во дворе скрипят качели, дети скачут под присмотром бабок — странно: предчувствия счастья нет. Чего-то — есть, но счастья нет. Открывает хмурая. *Дик прием был, дик приход.* Самое ужасное, что знал: то ли у нее подсознательно такая манера — дёрг туда, дёрг сюда, чтобы крепче сел на крючок, то ли действительно не понимает, чего хочет. Вялое: «Входи». Что говорить — непонятно. Кофе еще предложи. Садится на диван, поднимает голову: «Я тут подумала — ничего не получится». Я так и подумал, что ты так и подумала. «Ну что, я тогда полетел?» Молчит. Повернулся, вышел, взял такси, поехал в аэропорт.

По дороге вспоминал: ведь все уже было. Тоже бурное начало, не могли разлипнуться, ходили чуть не до утра по бульварам, сирень, естественно, — на другой день звоню, она неохотно говорит «ну ладно», встречаемся, ходим, все не то, где все ее вчерашнее шампанское — вообще непонятно. Наконец я прямо: в чем дело? Дело в том, что она не хочет ломать свою жизнь. Вчера я был дико обаятелен, а сегодня она отрезвела. Там есть учитель танцев, она занимается спортивным танцем. Если впускать меня, то прощайте, спортивные танцы. А она не готова, какие претензии? По самому началу ясно было, что если будет, то серьезно. И не факт, что легко. «Они пугаются напора», — сказал однажды Андрей Ш. Ехал и думал: почему-то никакого отчаяния. Жалко, правда, денег. Еще бесила жара. Только потом догадался, что привык прятать от себя самую сильную досаду; ни в чем не признаюсь, вот и проявляется подспудно: то дикая головная боль на ровном месте, то столь же дикое раздражение из-за ерунды. По дороге в аэропорт пробка на переезде. Все они, что ли, уезжают из города? Город южный, все цело. Прикидывал, что буду делать дома. Из-за трех перенесенных встреч завтра превращается в безумие. Надо бы чем-нибудь утешиться. Кого сейчас вызвоню? Да и, по совести говоря, чем после нее утешусь? Следовало бы успеть заметить в ней что-то разочаровывающее, отвратительное, но до того ль, голубчик, было. И всего грустней, что жалел ее, сидящую на диване: в самом деле несладко девочке. В двадцать два бы, наверное,

возненавидел, сейчас при всем желании не мог. Но денег жалко: мог потратить на дело. Мало ли на какое — нажрался бы в хлам, все польза.

Ждала в аэропорту, и странным образом знал это тоже. Может, потому и не было настоящего отчаяния по дороге. Как опередила? — ну, еще бы не опередила. Выросла тут, знает все закоулки, сосед дворами добросил на мотоцикле. Надо еще посмотреть, что там за сосед. Пока торчал в пробке, жалея деньги, как-то так пронеслась — и вот торчит под табло, сияя. «Ты что, правда бы уехал?» — «Естественно».

— Ладно, поехали.

По пути, оглядываясь с переднего сиденья:

— Это ты меня уже воспитываешь?

— Я не воспитываю, Варь. Я просто пытаюсь... ну, не насиловать же мне тебя, верно?

— А я что должна? Притворяться?

— Нет, ни в коем случае. Ну а что мне было делать?

— Не знаю. Наверное, все правильно.

— Ну, посмотрим.

— Что посмотрим?

— По результатам.

Неделю назад ничего не было: как называл это Харитонов, «лежали говорили об искусствах». Приехал по делам, затащили в компанию, масса общих знакомых, большая запущенная квартира, прекрасная, как в молодости — в Москве сейчас таких уже нет: чья-нибудь бабушка завещала, внук оказался раздолбаем, таскает таких же бездельников, ночами забредают совсем посторонние, пьют, поют, свечи,

разговоры на балконе, рассвет, потом кто-то остается, кто-то расползается, иногда с этого что-то начинается. Здесь разговаривал, как не разговаривал давно: все всё понимали, отвечали быстро и в тон, много знали, через час были как родные. Раньше Москва опережала в тех самых «искусствах», теперь опережает в бычке, в падении, возглавляет всякое движение, хоть вверх, хоть вниз. Приметил сразу и взаимно, как и положено: старалась подсесть поближе, ответить парольной цитатой, но тогда же заметил и эти внезапные отшатыванья, дёрг-дёрг, чтобы, значит, не мнил о себе. К пяти хозяева начали задремывать — двое местных безработных, живущих на родительские переводы из Штатов: она — студентка, он что-то где-то по мелочи, кажется, строительное то ли ремонтное, строгий и самоуверенный мальчик, как бы глава как бы семьи, хотя квартира студенткина. Задерживаться стало неловко, разговор шел с провалами. Встала, решительно взяла его за руку, потащила к себе. Дома никого, с кем живет — не спрашивал. Двадцать два года. Усадила в кресло с книгой, пошла в ванную, вышла в короткой ночнушке, постелила кровать — без краски и платья казалась младше, совершенный ребенок, несколько медвежковатый. Белые сильные ноги, крепкие икры, длинные пальцы. Ни маникюра, ни педикюра, ничего. Чудесно. Волосы теплые, соломенные, своего цвета, с легким духом абрикосового шампуня. Гладил, но не приставал. Потом целовались, вроде все уже должно было быть, но останавливала, и не настаивал. Во дворе уже орали

вовсю сначала птицы, потом дети. Наконец задремали, проснулся к двум, еле успел на обратный самолет. Записал телефон, из самолета написал: «Прямо хоть возвращайся». Не ответила, с утра прислала «Доброе утро».

— Со мной хорошо спать, все говорят. Свойство организма.

— Это молодость, пройдет.

— Не пройдет. Я не храплю, не верчусь, уютно сворачиваюсь.

— Что да, то да.

— Я даже думала с одной подружкой открыть дормиторий. Для страдающих бессонницей, слабостью там... Пришел, выспался, ушел свежий. Секса никакого.

— Это ты умеешь, да.

— Молчал бы. Развел на все, лежит довольный, как слон.

— Я и есть.

— Семнадцать лет разницы, ужас.

— Почему ужас?

— Не вздумай говорить, что мог бы быть моим отцом.

— Не мог бы, нет. Я в семнадцать только начал.

— Не вертись. Рассказывай.

— Про первый раз не буду, пошлость.

— Я не прошу про первый. Что хочешь, то и рассказывай. — Устраивается, вертится, укладывает голову на груди.

Город-герой, с боевой славой и больше, в сущности, ни с чем. В застольях поют военные песни — сначала дурачась, потом всерьез.

Угрюмый бородатый мужик мог среди общего стеба резко встать и заявить, что ему невыносимо издевательство над святынями. Слава Богу, никогда не издевался. Первое время она таскала по компаниям — оба боялись, что наскучит вдвоем, но скоро наскучили компании. Вдвоем не надоедало, обходились без обсуждений третьих лиц. Кого было обсуждать? — все понятные. Показала подругу, девочка-декаденточка, старше на пять лет, страшно обиделась, кажется, что увлеклись не ею. Уже перебраживает, перекисает. Могла бы утащить в свой декаданс, как Парнок Цветаеву (может, интерес и здесь, не без этого). Показала свою театральную студию, так себе студия. С режиссером было, теперь вроде как дружат. Старался больше молчать, в таких коллизиях верной линии не бывает. Начнешь ругать — столичный хам, хвалить — столичный подхалим с чувством вины, фальшивым, разумеется; молчишь с умным видом — столичный сноб, хуже первых двух. Что-то мямлил.

Ночью, вдруг:

— Самое странное, что ты добрый.

— Я примерно понимаю, о чем речь. Может, и добрый, но это, знаешь... Тоже одна говорила: это от заниженного мнения о людях. Как бы я так плохо о них думаю, что восхищаюсь любым человеческим проявлением, стишок там наизусть...

— Нет, это она со зла. Она тебя не любила.

— Да и не за что, в общем.

Пару раз приехала без предупреждения, появилась внизу, ждала. Почему-то почувствовал,

дико вдруг захотелось мороженого, выбежал за мороженым — стоит. На работу не вернулся, что-то наврал, хотел везти в гости: «Нет, я же не в гости...» Потом начала врать, что приехала рвать; никогда раньше не обращал внимания на эту анаграмму.

— Ну сам же подумай, никакого же будущего.

— Этого мы не знаем.

— Ты всегда прячешься. Что тебе, трудно подтолкнуть меня? Ну скажи: возьми себя в руки...

— Что ж я буду себе голову рубить?

— Не голову. Это у тебя обычные стрельцовские гоны. Стрелец себе придумывает, мечется, гонится, а на самом деле ему никого не надо.

— В этом что-то есть, я с тобой через что-то должен перепрыгнуть, непонятно только, через что.

— Ну видишь! Ты перепрыгнешь, а я куда? *Ты мною спасишься хочешь.*

— Живу тобой, как червь яблочком.

— А у меня там хороший человек. Я не могу врать вообще, понимаешь ты это?

— И не ври.

— Так нельзя. Я должна его сдать в хорошие руки или сделать так, чтобы сам ушел.

— Вот этого я никогда не понимал.

— Конечно.

— Будь уверена, он с величайшим облегчением тебя отпустит на все четыре. Нечего преувеличивать свою единственность.

И опять птицы, и опять не спали до шести, и почему-то после ночи с ней не было вялости и злости, а вскакивал свежий, словно после шести безмятежных часов на горной веранде.

Ревниво следил: не подвампириваю? Нет, и ей не хуже. Главное — все можно было сказать, это важней всякого секса, однако и он, надо признать... Хотя по большому счету все это ведь только для подтверждения, вроде печати.

Не сказать, чтобы обходилось без взаимных дрессировок, замечаний об этикете, летучих обид. Но все гасло — зачем отравлять чистый воздух? Почему-то из окна ее комнаты на третьем хрущобном этаже город напоминал Новосибирск, хотя там были сосны, а здесь тополя. Может быть, просто из окна «Золотой долины» смотрел в схожем состоянии, там тоже был роман (но это ведь не роман!) и, казалось, совершенный бесперспективняк. Но Таня этим, напротив, упивалась. Ей нравилось, что ночует с однокурсником, а днем бегаёт в «Золотую долину» — там, страшно подумать, пятнадцать лет назад жил, изобретя предлог в виде командировки. Тогда уже клонило к осени, все было лихорадочное, и у Тани был насморк, и оттого оба задыхались вдвойне. Здесь, напротив, все расцветало и расцветало, налетали дожди, освежавшие среди жары, и со двора поднимался запах мокрого асфальта. Мне кажется, во времени прошедшем печаль и так уже заключена: печально будет все, что ни прошепчем. У радости другие времена. Нет, здесь все было уже в прошедшем, но непонятно пока было, из будущего счастья мы на это смотрим или из будущей разлуки. Сначала все казалось, что из разлуки, но чем дальше, тем крепче срастались: три дня в Питере, неделя в Крыму, разъезжаться каждый раз казалось все более противоес-

тественным, но подспудно осознавалось, что это еще и подогревает, подливает остроты, так что пока подождем.

— Интересно, что у нас (уже «у нас»!) не было никакой весны. Сразу с лета, с лёта.

— Что, осенью кончится?

— Не знаю. (Хихикает.) Созрею.

Совершенно так и вышло, кстати: осенью навалилась новая работа у нее, у меня, потом кризис, виделись реже, все ослабевало, а ведь тут с самого начала ясно — либо все, либо ничего. На все не решались, ну и вот. И потом — все главное выпито: как в детстве, тройной сироп. Дальше вода, зачем? Все поместилось в одно лето. Перепрыгнули через что-то, оттолкнувшись друг от друга, — бывает и так, и, может, не худший вариант.

Иногда, конечно, хочется звонить, но подозреваю, что сменила телефон.

ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ ДАЕТ ПРИКУРИТЬ

Святочный рассказ

Маленькая аккуратная девочка со спичками в белой шубке, белых сапожках и голубой вязаной шапочке стояла на перекрестке двух центральных улиц и предлагала всем прикурить.

Это происходило в крупном городе, может, столичном, а может, просто миллионном — хоть в том, в каком живете вы, милый читатель. Я не стану пугать вас ужасными подробностями, которые так любил сентиментальный садист Андерсен, вечно подвергавший своих малолетних героев неслыханным испытаниям. У нашей девочки не было ни потрескавшихся башмаков на красных от холода ножках, ни рваных рукавиц на синих от холода ручках, ни жалобных просьб на белых от холода губках. Она не собирала денег на больную маму, не просила подать на пропитание малолетнего братика и вообще смотрела на прохожих с глубоким сочувствием, словно это не ей, а им требовалась благодетельная помощь.

Надо сказать, в Рождество или незадолго до него на улицах любого города можно периодически встретить девочку со спичками. Но для этого, во-первых, надо, чтобы у вас была неразрешимая проблема, а во-вторых — чтобы вы

не полностью утратили полезную способность смотреть по сторонам и замечать маленьких аккуратных девочек с золотистыми волосами и голубыми серьезными глазами.

Как раз по центральным улицам в это время ходило довольно много народу с неразрешимыми проблемами. Девочки со спичками знают, где стоять.

Например, как раз во время ее загадочного дежурства в дальнем конце улицы появился бледный молодой человек с синими кругами под глазами. Он третью неделю размышлял, стоит ли позвонить подруге, которую он без особых оснований заподозрил в неверности. Подруга до того обиделась, что не стала его разубеждать. Более того — она намекнула нашему студенту, что от такого дурака и впрямь впору сбежать к первому встречному, и если она не сделала этого раньше, то исключительно из сострадания. Тогда молодой человек обозвал подругу соответствующими словами и хлопнул дверью, а теперь жестоко раскаивался. Вдобавок ему страшно хотелось курить, а зажигалку он, как назло, забыл вчера в гостях, где переусердствовал по части спиртного, заливая любовную тоску. Ни одного табачного киоска поблизости не было. Студенту даже вспомнился анекдот про ад, в котором травки и гильз сколько угодно, а спичек нет.

— Молодой человек, — тихо и серьезно окликнула его девочка со спичками. — Вам прикурить не надо?

Студент остановился и спросил себя, не почудилось ли ему это своевременное предложение. Нет, не почудилось.

— Очень надо, — честно сказал он.

— Выберите спичку, пожалуйста, — сказала девочка и раскрыла перед ним коробок, в котором виднелись спички с разноцветными головками. Каких только тут не было — и фисташковые, и густо-зеленые, и белые, и красные, и даже блестящие, будто из сусального золота. Черная была только одна, она лежала в самом дальнем углу коробки, но студент потянулся именно к ней, потому что она соответствовала его настроению.

— Нет, эту пока не надо, — все так же серьезно сказала девочка, и студент подумал, что какая-то она подозрительно взрослая для своих десяти-двенадцати лет. Какая-то чересчур умная, какими не бывают даже отличницы этого возраста. — Вам, пожалуй, вот эту, — и она решительно чиркнула по коробку спичкой с розовой головкой.

Студент успел разглядеть картинку на коробке — огромная елка, вся в старомодных шариках и свечках; он видел такие обложки в детских журналах 1900-х годов — журналах, сотрудники которых и помыслить не могли, какая участь готовится их читателям.

Студент нагнулся к розовому огоньку, вдохнул дым «Честерфилда», и голова у него слегка закружилась. Девочка смотрела на него с любопытством и удовлетворением, слегка склонив голову набок. Примерно так же смотрела на него возлюбленная после первого свидания, когда он робко заметил, что запал на нее еще с первого курса. В следующую секунду у студента зазвонил мобильник, он глянул на

определитель, покраснел, побледнел, вспотел и равнодушным голосом сказал: «Да».

На него обрушился поток жалоб, слез, нежных упреков, угроз и раскаяний. Ноги его подкосились, но тут же обрели нездешнюю силу — и студент, не поблагодарив девочку со спичками, галопом помчался туда, откуда на него изливались долгожданные слова прощения и грусти. Девочка посмотрела ему вслед и спрятала коробок.

Вскоре, правда, ей пришлось извлекать его снова, потому что по другой, перпендикулярной улице к ней приближался пациент куда более тяжелый. Сорокалетний безработный, перепробовавший множество разных профессий, умевший водить машину и трактор, пахать кастроли, вскапывать огород, починить при случае несложную электронику и провести сквозь шторм небольшую яхту — словом, один из тех, на ком в идеале держится всякое общество, в тяжких раздумьях о полной своей невостребованности шагал по заснеженной улице. Надо ли добавлять, что наш лузер был вдобавок обременен семьей. Только что закрылось московское представительство крупной фирмы, отчаявшейся привить местному населению законопослушность, обязательность и прозрачность. Наш герой был вышвырнут на улицу без извинений и выходного пособия, как оно бывает сплошь и рядом, невзирая на растущую цивилизованность отечественного бизнеса. Когда-то по требованию шефа водитель бросил курить, но шефа теперь не было, и закурить было бы в самую пору.

— Дяденька, — сказала девочка. — Закурить не желаете?

— Рано тебе курить, — сурово сказал безработный. У него своих таких было двое.

— Я не курю, я прикуриваю, — назидательно сказала девочка. — Доставайте вашу «Приму».

— Я бросил, — бросил работяга.

— Ну и что же, — ответила девочка. — У вас в кармане пальто одна завалялась, я точно знаю. Доставайте, она в левом.

Дяденька послушно полез в левый карман и с ужасом обнаружил, что ребенок прав.

— Ясновидящая, что ль? — спросил он подозрительно. Ему теперь казалось, что все его хотят развести.

— Ты, дяденька, много не спрашивай, — улыбнулась девочка, и что-то в ее улыбке подсказало дяденьке, что расспрашивать действительно не нужно. — Ты спичку тyani.

Дяденька зажмурился и вытянул черную спичку.

— Как сговорились, — вздохнула девочка, отняла черную спичку и достала зеленую.

Она чиркнула ею о коробок и поднесла к дяденькиной «Приме» маленькое зеленое пламя. Дяденька сладко затянулся и ощутил прелесть независимости. Голова его слегка закружилась, он задрал ее, чтобы кровь отлила, — его когда-то учил так делать знакомый рыбак-гипертоник — и тут же увидел прямо над девочкиной головой объявление: «Требуется водитель со стажем на очень хорошую оплату, курить можно». Он потянулся сорвать объявление, чтобы должность никому больше не досталась, но

вместо объявления в руке у него вдруг оказалась визитная карточка будущего нанимателя с двумя телефонами, служебным и мобильным. Дяденька потряс головой и потрусил наниматься.

Девочка и ему вслед посмотрела с затаенной хитростью, с какой отдельные умные девочки глядят иногда на глупых мальчишек, но улыбка тут же сошла с ее лица, потому что с противоположной стороны улицы к ней в неуклюжей отечественной коляске приближалась женщина лет тридцати, с детства страдавшая мышечной дистрофией. В последнее время отчаяние этой женщины доходило до того, что она готова была запить или закурить, лишь бы отвлечься от немощи и полной не востребоваемости. Несмотря на повсеместную стабильность, инвалид как был, так и оставался никому не нужен, кроме собственной семьи, а силы семьи не бесконечны.

— Сударыня, — сказала девочка, пренебрегая принятым здесь обращением «женщина» или «ну, ты». — Не желаете ли закурить?

— Мне нельзя, — сказала калека. — Я и так ходить не могу.

— Раз в год можно, — убедительно сказала девочка, уверенно вынимая пачку тонких дамских сигарет. — Выберите, пожалуйста, спичку!

Само собой, инвалиды в таких ситуациях почему-то всегда выбирают черную, но девочка посмотрела на женщину с осуждением, чиркнула оранжевой спичкой — и коляска растаяла, а несчастная калека с размаху плюхнулась на тротуар.

— Вот видишь, — сказала она, не упуская случая напомнить о своей правоте. — Мне нельзя курить, я уже падаю.

— Вставай и иди, — грубовато сказала девочка. — Разлеглась тут.

Несчастливая неуверенно встала на четвереньки, потом, цепляясь за девочку, поднялась на ноги, потом выпрямилась и сделала первый шаг.

— Чтой-то я? — спросила она полупшепотом.

— Двигай давай, — подбодрила ее девочка, пряча спички. — Курить ей вредно, видите ли... Жить тоже вредно, от этого знаешь что бывает?!

В следующие два часа девочка со спичками дала прикурить одинокому гею, тут же резко ощутившему свою натуральность, печальной натуралке, мечтавшей устроить ребенка в детсад, двум гастарбайтерам, настрадавшимся от скинхедов, и одному скинхеду, настрадавшемуся от прыщей; мимо нее прошел также учитель, чуть не плакавший оттого, что у него ничего нет, и олигарх, в голос рыдавший оттого, что у него все есть. Прикурив у девочки со спичками, они, к обоюдному удовольствию, поменялись местами — и скоро учитель, назначенный губернатором отдаленного региона, решительно вывел его в лидеры, а олигарх научил детей действительно важным вещам. Впрочем, это случилось через год. А пока девочку со спичками обнаружил на перекрестке крупный чиновник городской мэрии.

— Девочка! — заорал он. — Со спичками! Где твои родители, девочка?!

— Дяденька, — сказала девочка очень серьезно и посмотрела на него большими прозрачными глазами. — Вы на совещание опоздаете.

— Какое совещание! — вскричал чиновник. Он как раз отвечал за борьбу с беспризорностью, и похвастаться на этом поприще ему было решительно нечем, потому что в детприемниках его родного города для детей создавались такие условия, от которых они немедленно сбегали обратно на улицы — там было и теплей, и уютней, и безопасней. Чиновнику предоставлялся уникальный случай личным пиаром спасти положение. — Какое может быть совещание, когда на улице замерзает бесхозная девочка со спичками! Да я немедленно, своими руками отвезу тебя в детприемник и прослежу, чтобы тебя побрили, потому что ты, наверное, вшивая!

— Руки уберите, пожалуйста, — тихо сказала девочка.

— Нет-нет, умоляю, не убирайте руки! — завизжал над ухом чиновника чей-то удивительно гнусный голос. Такой голос не мог принадлежать ни мужчине, ни женщине, ни старику, ни ребенку, а только автору и ведущему «Ядерной программы», скандальному репортеру Глебу Косых. — Мы как раз готовим сюжет о растлении малолетних, а когда крупный чиновник городской администрации гладит девочку — это самое то! Умоляем, еще одно поглаживание! Напоминаю, что наша программа официально приравнена к нацпроекту, потому что никто так не компрометирует идею журналистского расследования, как мы-ы-ы! — Голос Косых сорвался на совершенно уже невыносимый визг, и выросший рядом с ним откуда ни возьмись толстый оператор уже нацеливался на чиновника тусклым глазом телекамеры.

— Эт-та что такое?! — прогремел представитель местного УВД, отправлявшийся в очередной рейд (не забывайте, что улицы были центральные и представители власти появлялись на них регулярно). — Девочка? Со спичками?! Поджигаем существующий порядок?! Ах ты нацболка! — Он вытащил из кармана наручники и жизнеутверждающе потряс ими перед девочкиным носом. — Расступитесь все, граждане, сейчас здесь начнут задерживать малолетнюю экстремистку! Ишь чего выдумали — среди бела дня на улице со спичками! Вас не устраивает растущее благосостояние? Мы будем немножко допрашивать!

— Вот так расправляются власти с инакомыслящими! — радостно заверещал случившийся тут же оппозиционер. — Даже дети становятся жертвами режима, даже малолетние девочки выходят на свой марш несогласных! Немедленно, немедленно пришлите сюда представителя международного фонда «Злорадное наблюдение» и запечатлейте страдания ребенка, изнемогающего от полного отсутствия свободы слова!

— Девочка? Со спичками? — с негодованием рявкнул представитель движения по борьбе с незаконным передвижением мигрантов «Тутошние мы». — Ты что тут делаешь, а?! Да ты не местная! Признавайся, подлая гастарбайтерша, откуда пришла! Что-то я раньше тебя здесь не видел! Это из-за таких, как ты, понаехавших тут, наши коренные уроженцы не имеют возможности торговать спичками! Я с детства, с младенчества мечтал торговать

спичками, а из-за таких, как ты, вынужден помирать с голоду в движении «Крашенная сотня»! Ну-ка, покажь паспорт с пропиской, или я в двадцать четыре часа устрою тебе полную Кондопогу!

— Не смей, не смей, это моя девочка! — ревел в задних рядах образовавшейся толпы крупный местный благотворитель, в ревущие девяностые известный большинству жителей под кличкой Сявка, а ныне державший казино в самом центре. — Я буду сейчас благотворительствовать! Пустите меня, я ей дам! Все говорят — выслать игорный бизнес в четыре зоны, а игорный бизнес кормит голодных детей! Пустите меня к девочке, я несу ей золотую карту нашего казино и завтрак из овсяных хлопьев!

— Отстаньте все от девочки! — надсадно верещал красный от возмущения мальчик из молодежного движения «Слава», названного так в честь своего верховного куратора. — Это наша, правильная девочка! Она пополнит ряды лояльной молодежи, пойдет с нами на пикет у американского посольства и поедет на Селигер! Пустите меня, я комиссар района! Мне Глеб Савловский руку жал и настоящими слезами плакал, приговаривая: «Вот до чего я дошел!»

Некоторое время девочка со спичками брезгливо смотрела на жадные руки, тянущиеся к ней, и слушала алчные выкрики. Всем этим людям она была нужна, даже необходима — но совершенно не для того, для чего была на самом деле предназначена. Она криво усмехнулась, и все затихло. Только бился сзади в истерике

депутат местного законодательного собрания, призывавший немедленно оштрафовать ребенка за демонстративное курение на улицах. Сам депутат держал небольшой притон, но делал это скрытно, недемонстративно.

Девочка открыла свой коробок, где оставалось уже совсем немного спичек. Их, однако, все еще было вполне достаточно, чтобы решить проблемы нескольких жителей этого города, но, судя по хитрой улыбке, озарившей ее лицо, она нашла вдруг гораздо более простой способ решить эти проблемы и вдобавок сэкономить спички.

— Да идите вы все на фиг, — сказала девочка с ангельской улыбкой и чиркнула черной спичкой.

В ту же секунду толпа вокруг нее рассеялась. Контуры городской элиты побледнели, заколебались и растаяли в морозном воздухе. Никто даже не успел пискнуть, только длинное лицо Глеба Косых, очень быстро реагировавшего на любые изменения, вытянулось еще больше, и на нем мелькнуло мимолетное сожаление о том, что рассказать об этом чуде в своей «Ядерной программе» он не успеет уже никогда. Да и программы никакой уже не бу...

— Вот и славненько, — сказала девочка со спичками.

Она аккуратно сняла белую шубку, под которой оказалась пара тоже очень белых, поскверкивающих на солнце крылышек. Взмахнув крылышками, она плавно отделилась от мерзлой мостовой и поплыла вверх. В руках она крепко сжимала коробок со спичками.

Кое-кто, конечно, сочтет этот финал недостаточно оптимистичным, потому что спички ведь улетели, а нерешенных проблем осталось еще ого-го. Но смею вас уверить, что Рождество бывает раз в году, не чаще и не реже, и девочка со спичками встретится вам еще неоднократно. Надо только уметь смотреть по сторонам.

ПРОЩАЙ, КУКУШКА

1

В феврале у жены обострилась базедка, как ласково, по-домашнему она ее называла, и это словцо тоже его бесило, как бесило все в последнее время. Врач, визит к которому обошелся в двадцать три франка, не стал даже толком выслушивать жалобы: внезапная, на ровном месте, дрожь в руках, сердцебиения, ночные поты — и ровно, уютно пояснил, что если сейчас же не выехать хотя бы недели на две в санаторию, перемены сделаются необратимы. «Wendepunkt! — говорил он, поднимая палец. — Gabelung! Точка раздвоения, откуда либо вверх, — и он задрал яйцевидную голову, — либо уже только вниз, и тогда... вы знаете. Я сразу понял, как увидел эти блестящие глаза». Жена улыбнулась, словно ей сказали комплимент. «Эти глаза! — Он поднял палец. — Отечные веки, редкое моргание! Это значит, что уже затронут зрительный нерв, и если теперь же, auf der Stelle, не взять решительные меры — я просто разведу руками, уже только разведу руками». И он развел. Ужасна была манера здешних докторов все говорить при пациенте, идиотская банковская честность. Российский врач долго бы мялся, кашлял, пил

водку, потом отвел бы мужа в сторону и, взяв за пуговицу... Тоже, конечно, мерзость; да и все мерзость! Всего противней была доверительность, с которой швейцарец подмигнул при прощании: «У мужчин данный этап протекает тяжелей, возможны уже первые трудности с... вы понимаете? При правильном лечении возможно восстановить, но...» Выходя из клиники, мельком глянул на себя в зеркало. Гадкая мнительность, но что, если уже подозрительно блестят глаза? Проследил за собой: не реже ли мигаю? Нет, как будто даже чаще обычного... Праздный, ничем не занятый ум цеплялся за все, начинал бесплодную лихорадочную работу. Кончу безумием, это совершенно ясно. Вот и все, и ничего кроме.

Санаторию швейцарец посоветовал, но такую, что сбережений не хватило бы и на полдня; пришлось унижаться, спрашивать, есть ли дешевле, — врач пожал плечами и предложил несколько на выбор, но и это все было не то, в лучшем случае три дня с отказом от завтрака, и наконец, глядя на него со странной укоризной, — изволь платить, если хочешь быть здоров, или уж, если беден, не более — предложил последний вариант: если не подойдет и это, я разведу руками, просто разведу руками. На самой немецкой границе, в горах, пятнадцать франков в день, весьма достойный *Heilverfahren* — сиречь процедуры. Нет, конечно, ни циркулярного душа, ни солевой пещеры, но что вы надеялись получить за пятнадцать франков? Есть диета, многократно проверенная; правда, его пациенты там еще не быва-

ли — он подчеркнул это, глянув поверх очков с той же укоризной, — но, судя по проспектам, все соблюдается. Я могу, если хотите, написать врачу записку с подробным диагнозом, хотя, уверяю вас, для специалиста все ясно с первого взгляда. Но есть ли места? О, уверяю вас, там есть. Они поблагодарили и вышли.

Надо было собираться и ехать — хоть какое-то действие в сплошной, вынужденной, вязкой паузе, когда казалось, что война никогда не кончится и они навеки заперты в этой торричеллевой стране, откуда откачали весь воздух. Дали телеграмму в лечебницу, чтобы встретили на станции. Билеты третьего класса (сразу же вместе с обратными, три франка прямой экономии) окончательно истощили запас, поступлений не предвиделось, лекции никому не требовались, из России третий месяц не приходило ни гроша. Коротенький, пятивагонный поезд одышливо карабкался в гору, словно и сам ехал лечиться от туберкулеза. Болен был весь мир, вся природа: колкий, мелкий, нерусский снег (никогда не видал здесь мягкого и липкого, как в Кокушкине), рыжий хвойный лес, задыхающийся паровоз, дряхлый вагон и все попутчики. В углу сидел явный идиот, зобатый, злобный; двое тучных пьяниц со всеми следами порока и вырождения на жирных пористых лицах то и дело принимались горланить что-то солдатское, но забывали слова. Жена третий день чувствовала себя виноватой: им не пришлось бы тратиться и срываться с места, если б не дрожь в руках и ночные поты, симптомы, в сущности, пустяковые. Он, как мог, ее успокаивал — она

была последним существом, которому было до него дело. Что делалось в России, он понятия не имел; в этой глуши, должно быть, и газет не достанешь, да и много ли прочтешь в этих газетах? Их заполняло что угодно, кроме главного.

На станции встретил их потешный шарабан, размалеванный не хуже циркового: хозяин санатории завлекал пациентов веселенькой рекламой. Пухлые женщины с ногами-сардельками прыгали через веревочку: добро пожаловать в санаторию Тицлера, мир здоровья! Вообразил жену с веревочкой; она, как всегда, угадала его мысль, и оба приснули. Ехать было версты три да последние полверсты карабкаться пешком; мир здоровья — белый трехэтажный особняк на уступе — снизу казался игрушечным и недосягаемым. На постоялом дворе оставили лошадь с шарабаном, дальше тяжело ползли вверх — провожатый, румяный чернобровый здоровяк из тех, что и в сорок чувствуют себя пятилетними, подбадривал, хохотал, хлопал себя по коленкам. Наконец вползли — последние шаги жена прошла, держась за его плечо и дыша, как рыба на песке; накликал-таки, дав ей треклятое прозвище. Вот те и Рыба, да и сам уже Старик; старик и рыба. В просторном холле, выложенном шахматной плиткой, вдова Тицлера, белая, рыхлая, вся словно налитая жидкой сметаной, встречала их, кивая сплюснутой, как брюква, головой. Мудрый выбор, лучшая санатория. Особенно хороша диета, лучшая диета на основе чистого молока.

Молоко! Он застонал. Если и было нечто, чего он так и не научился переносить за годы

скитаний, побегов, ссылок, переездов и нищеты, нечто ненавидимое упорно и брезгливо, то молоко, от которого его неудержимо рвало еще в детстве. Он не переносил его ни в каком виде — ладно, готов был терпеть в твороге, из которого теща делала прелестные жареные лепешки с изюмом, но молочная диета! Жена взглянула умоляюще; он махнул рукой. Пускай, не может же быть, чтобы к молоку не давали хлеба. Им отвели комнату на втором этаже.

Сразу оказалось, что невозможно спать. Он надеялся после переезда лечь пораньше, клонило в сон, болела голова — он приписал это разреженному воздуху, горной болезни, боясь думать, что нагоняет проклятая отцовская хворь. Легли сразу после ужина, состоявшего из отвратительной местной простокваши с мягким, но тоже кисловатым хлебом, — не полагалось даже чаю, от которого одно расстройство нервов, в особенности на ночь. Без чаю он не мог сосредоточиться, но здесь махнул рукой — ну его к бесу, оно же и лучше, не станет отвлекаться и забудется. Но только они легли, спина к спине, как спали давно уже, — внизу оглушительно грянул аккордеон, и бешено затопали грубые башмаки: приплюснутая местная публика, еще в столовой показавшаяся ему неуловимо гнусной, ударилась в вечерние развлечения. Сначала они принялись плясать под дикую польку — откуда силы брались у слабогрудых? — а потом трижды кряду затыгивали томительное «Lebe wohl, kuckuck». На третьем разе он не выдержал, бросил попытки засунуть голову под подушку, вскочил, оделся, чертыха-

ясь, и спустился вниз, где заходило на второй час это слезное веселье.

Тицлерши не было. В столовой, сдвинув в угол столы и расчистив площадку для танцев, расставили вдоль стен длинные серые скамьи, расселись и пели. Он снова заметил, как отвратительны лица: не на чем взгляду отдохнуть. Это были не крестьяне, не фабричные, а обыватели, составлявшие в Европе решительное большинство; он сам не понимал, почему в России мещан было не в пример меньше. Здесь же все, кто трудится, словно попрятались стыдливо, а главным классом сделался бюргер. Разумеется, это не могло быть так, защищал он сам перед собой привычную картину мира. Разумеется, все это пролетарии, в худшем случае зажиточные крестьяне, просто они желают выглядеть как обыватели, в отличие от наших, среди которых и купец-миллионщик глядится иногда мужик мужиком. У наших принята мимикрия — все хотят казаться грубее, хуже, чем есть, интеллигенция щеголяет грязными словечками, словно поголовный стыд перед народом заставляет носить хамскую маску. Эти же изо всех сил желали выглядеть как порядочные, и когда он вошел, разъяренный, красный, — дружно изобразили любезность.

— Господин новоприбывший, — медово осклабляясь, сказал длинный, похожий на кельнера, — не желаете ли присоединиться к скромной компании, у нас запросто, по-товарищески...

— Прошу простить, — прервал он яростно, — но моей жене нужен сон, и мне тоже нужно выспаться. Ваше веселье несколько шумно, мы наверху не можем спать.

— Зачем же спать, — крикнула покрасневшая от пенья и смущенья бесформенная толстуха, тоже, верно, с базедкой. — Зачем же спать, когда можно тут с друзьями веселиться. Скажите же вашей супруге, что завтра еще будет дневной сон и она выспится.

— Моя супруга, — вспыхнул он окончательно, — моя супруга знает, когда ей спать... Я прошу вас прекратить, или по крайней мере тише... Вы одно и то же шестой раз поете...

— Что же вы сердитесь, это наш обычай, — умильно сказала мужеподобная, огромная, в толстых вязаных чулках. — У нас когда провожают кого, всегда поют «Прощай, кукушка». — И она горлом, горлом игриво изобразила припев: ай, ай, ку-ку. Ай-яй, ку-ку.

От этого кукованья он почувствовал то истинное бешенство, с которым иногда не мог совладать, то самое, от которого чернел язык.

— Если вы не замолчите, — крикнул он, — я пожалуюсь... — И сам возненавидел в ту же секунду собственный смешной гнев: кому он собрался жаловаться на этой высоте?

— Однако же вы не очень-то, — подал голос старец с дряблой шеей. — Вы не очень-то, вы не с женой тут, вы не дома. У нас веселая компания, дорогой господин. Вы нам не нарушайте компанию, вас с супругой двое, нас тут двадцать три, есть право большинства. Еще нет даже десяти часов. У больных людей мало радостей. Вы не хотите присоединиться к компании добрых друзей, ваше дело. Но вы не можете тут выкрикивать оскорбительные слова, нет! — Старец затряс кривым пальцем.

Что оставалось? Оставалось плюнуть и подняться наверх, под взрывы хохота и визг дам. Жена похрапывала, воспользовавшись перерывом в пении. Он улегся рядом, чувствуя, как все тело зудит от ненависти. Внизу все еще переговаривались, доносились взрывы хохота — им понравилось, как отшили новичка. Но скоро они опять запели что-то веселое, он не слышал слов, но с прозорливостью истинной ненависти угадывал их — наверняка о том, как парень предлагает девушке пройтись на сеновал, чтобы посмотреть там на птиц, а она отвечает: ах нет, мой милый, до свадьбы мы не пойдем, иначе у меня птиц набьется полный живот, ха-ха! Или он предлагает ей сходить на рыбалку и накопать червей, а она отвечает: ах нет, мой милый, до свадьбы никакой рыбалки, иначе мы накопаем мне полный живот червей, ха-ха! Или он предлагает изловить ей енота или иного пушного зверя, на что она отвечает: ах нет, до свадьбы никаких зверей, иначе у меня к зиме будет прелестный енот, ја, ја! Напал смех, как бывало у него после приступов ярости, и он заснул. Утром стыдно было войти в столовую, думал — станут хихикать, но ничего: гнев его был пугающ, он сам знал это. Переглядывались, перемигивались, шушукались, но прысканья не слышал.

2

Обычно от всяких мерихлюндий спасала его работа, любая, хотя бы статья на заказ или реферат для публичных чтений, на которые давно, впрочем, не удавалось собрать слушателей. Но

здесь не было работы, а почта доставлялась раз в неделю, и мозг выкипал в бессильном, мелочном злобствовании. Это был первый раз, что он ничем не мог себя занять. Надо было, по идее, писать статью против Гримма. Гримм, пользуясь мягкостью, благодушием, а по сути тупостью большинства, протолкнул резолюцию о пацифизме. Надо было сразу бросить им в лицо, что нельзя, невозможно порядочному человеку оставаться с ним в одной организации. Надо было немедленно выступить открыто, но промедлил, опасаясь обострения, и теперь что же махать кулаками. Это были, конечно, не марксисты и не социалисты вовсе. Это была кучка филистеров, ни в чем не преуспевших, называвшихся партией по давно прошедшей моде. Он чувствовал, что мода прошла, что война изменила Европу неузнаваемо, что после Вердена все эти их пацифизмы, соглашательства, оборончества не могут иметь никакого смысла. Он им с письмами основоположников, подлинными, очищенными от ложных толкований, — они ему о том, что хватит крови, или о том, что до революции доживут, может быть, внуки. Он сам чувствовал, что доживут внуки, да и в тех был не уверен, — но говорить об этом вслух было подлейшим отступничеством, безобразнейшей, гнуснейшей трусостью, мерзостью, для которой нет названия. А все-таки здесь, наверху, он мог себе это сказать. Лихорадочная деятельность, помимо скудного пропитания, имела теперь один смысл: так сказать, терапевтический. Ею можно было лечиться от чувства незаполнимой пустоты, проигранной жизни. Им вполне овладела

уверенность, что жизнь именно проиграна. Это был кризис, о котором он читал, — но самая мысль о таком кризисе антинаучна, ибо никто не знает середины своей жизни. Это выдуманно для оправдания всяческих мерихлюндий. На самом деле всякая жизнь бессмысленна, и он это знал всегда.

Никогда ничто не внушало ему такой ненависти, как жизнь и жизнелюбы. Здесь он смыкался, пожалуй, с самыми отчаянными декадентами, чего вслух отроду не признавал, — но и в декадентах была правда: они как никто чувствовали всю обреченность, всю гнилость etc. Он и сам был себе отвратителен, но что же делать? В этой мышине возне вокруг Гримма, склоках, рефератах, копеечных самолюбиях, взаимных жалобах и их заочных, через многие версты, разбирательствах, в этой разбросанной, уничтоженной партии, в спивавшихся и сходявших с ума товарищах, из которых одни сидели, а другие нищенствовали по заграницам, — была единственная панацея от жизни, последняя защита от нее. Все они были рождены для великого, каждый это доказал, каждому была бы по плечу задача, от которой в ужасе отступился бы самый просвещенный европеец, — но где было и ждать, что найдется такое дело? В России война испортила все. Если бы не война — впереди было три, много пять лет гниения; но шовинистический угар, но сплочение вокруг обожаемого монарха, но подлейшая, гнуснейшая, бесстыднейшая продажность так называемой интеллигенции... Лучшие были деморализованы и раздавлены,

худшие приспособились, и никогда он не чувствовал такого одиночества. Отсюда, с высоты, он смотрел на свою жизнь. Жизнь не удалась. Жена была омерзительна, и всего омерзительней было выражение кроткой виноватости, с которым она, овцеподобная русская женщина, пила теплое молочко. Он пробовал днем, когда она погружалась в благодетельный сон на балконе, писать реферат о каутскианстве. Не было под рукой цитат, статистики. Каутскианство было чушью. Все остальное было жизнью, от которой он так успешно прятался то в стачку, то в ссылку, то в конспирацию, то в эмиграцию. Теперь она догнала его и каждую ночь с особым злорадством, словно отпевая надежды, орала внизу «Прощай, кукушка».

3

На вторую неделю приехал солдат. Надо было к нему подобраться, расспросить, что все-таки в окопах. Солдат был немец, приехал к здешней родне, подкормиться на нейтральной почве. Он получил трехмесячный отпуск по тяжкому ранению, ничего не мог есть, у него отрезали чуть не половину желудка. От солдата, хоть и отъедавшегося уже вторую неделю на сельских харчах, при разговорах о фронте дрожали руки и дергалась шея, и отвечать на прямые вопросы он избегал, а что такое дух войск, не понимал вовсе. Он говорил только, что трудно очень без баб и что заедают вши. Вот если бы, говорил он и улыбался робко-похабно, если бы вместо вшей все это были бабы, тогда и война была бы

прекрасная вещь. О русских он не мог сказать ничего, потому что в бою с ними не сталкивался. О французах он был ужасного мнения, англичан презирал за надменность, «а на самом деле в них ничего нет, одна пустая шкурка».

— Ты вокруг него, как кот вокруг сметаны, — робко улыбалась жена, не чувствуя по врожденной бестактности, что его вырвет сейчас от упоминания о сметане, что он видеть не может сметану, слышать не желает о ней. Но мир солдата, с которым он все пытался заговорить, был еще омерзительнее, чем молочная кухня. Однажды в книге, которую довелось ему пролистать в лондонской библиотеке, он рассматривал рисунки душевнобольных, лишенные, конечно, всякой связи и смысла, потому что люди, создававшие их, давно — а может, и с детства — не работали. Они лишены были того единственного, что дает возможность переносить мир и даже при необходимости изменять его. У душевнобольных в рисунках не было связности, потому что в ежедневной практике им не нужно было выстраивать социальные отношения. Он с ужасом подумал, что и сам эдак может сойти с ума, чего больше всего боялся в молодости, когда впервые заметил за собой страсть к повторам, тавтологиям, эксплуатацию одной и той же мысли: это был признак будущего безумия, но как иначе объяснить не понимающим ничего, не желающим, не могущим ничего понять? Как объяснить тем, кто ничего не понимает? Если ничего не понимают, какое же может быть объяснение?! Он впервые в жизни дошел до того, что прочел книгу неполитического содержания. Книга была «Дым

опиума», французский роман, похожий на рисунок душевнобольного, вне всякого понимания социальных связей. Герои существовали в пустоте, ни о ком не сообщалось главного — цифра месячного дохода, род занятий. Видно было, что герой потому полюбил, что тянулся к представительнице своего класса, и потому же отверг любовь женщины более простой, работницы. Но работницы чего, на чем, — сказано не было, и потому извлечь из книги хоть каплю смысла оказалось заведомо невозможным. Однако вернемся к душевнобольным, сказал он вслух. В лондонской библиотеке в ожидании сложного заказа он вынужден был пролистать новое поступление — книгу рисунков, среди которых оказался единственный, испугавший его по-настоящему. Он не боялся ни разнообразных змей с птичьими головами, ни моря, зубами грызущего сушу, — запомнился ему лишь рисунок пятнадцатилетней олигофренки, растленной солдатом. Там — детскими, неуверенными, старательными штрихами — изображался действительно солдат, в фуражке, с круглой масляной рожей, ртом до ушей и огромными, омерзительно свисающими гениталиями. Видно было, что девочке нравился солдат, что она отроду не видала ничего более удивительного. Знамо, что и могла она рассмотреть в нем. Точно таков был и этот солдат, и все солдаты. Идеальным препровождением времени для него было растлевать олигофренок. Если бы всех таких солдат переубивали, в этом не было бы большой беды.

Ужасен был мир солдата, как он ему представился, — а между тем эта война сделала солда-

тами почти всех, даже и тех, кто остался дома. Он ненавидел и бюхнерова «Войцека», которого смотрел как-то в Германии, пьесу, невыносимо пугавшую его. Всего ужасней сходят с ума те, кому не с чего сходить. Мир солдата, более всего похожий на квадратную коробку гауптвахты, квадратный плац, мир, где преобладали вши и эротические галлюцинации, где скучно и однообразно мучили друг друга, — таков был ад, и никакое декадентское воображение не могло быть страшнее и таинственнее этого ада. Он и вообще боялся сумасшедших, но больше всего кретин. Здесь, у Тицлера, больные кретины обступили его.

Мир состоял из олигофренов, растленных солдатами. В иное время от этого можно было бежать в разнообразные и прекрасные отвлечения, включая оборончество. Но здесь, кажется, жизнь догнала и уже почти поглотила его. Он не мог спать, бессильно ворочался, ложился на пол, на полу мерз. Жена плакала, он слышал, но не утешал. Она была не виновата, а все-таки виновата. И ее болезнь и подступающая старость, и чувство собственной старости, бесплодной, неотвратимой, чувство презренного бессилия, негибкости мысли, прежде столь сильной и послушной, — все душило его так, что он как к единственному спасению кидался к реферату против Гримма, и Гримм вырастал у него в средоточие всемирного зла. Однако лучше уж было это зло, чем ад вещей и прыщей, седых волос и базедок, ежеутренних разговоров о том, у кого что ноет, и ночных прощаний с кукушкой.

Но все кончается, и накануне отправки на утренний поезд им спели «Прощай, кукушка». Это был первый раз, что он выслушал песню без отвращения. «Прощай, кукушка, лети к своим деткам. Где же твои детки? У тебя нет деток! У тебя нет гнездышка, у тебя нет рубахи. У тебя нет шляпы, у тебя нет сапог. Ничего у тебя нет, свободная ты птица. Прощай, кукушка, вот уж и понедельник». Это повторялось семь раз, пока не наступало воскресенье.

Уезжали они назавтра, в четверг. День отъезда был тепленький, серенький, с дождем. Окрестности санатория, исхоженные за две недели, были теперь уже непохожи на горный лес, окружающий заколдованную твердыню, — нет, обычный лесок, чахлый и скудный. Пахло отсыревшей хвоей, корой, полверсты надо было спускаться пешком, и, свернув с тропы, он неожиданно увидел несколько крупных боровиков. В Швейцарии! Грибы! В феврале! Он и забыл, когда в последний раз собирал грибы. В России, особенно в Сибири, случалось часто, несколько раз повезло в Кокушкине — он до сих пор помнил огромный подосиновик, никогда потом не видел ничего подобного. Он окликнул жену. До поезда еще было время. Они принялись собирать грибы. Ей трудно было нагибаться, он один набрал больше полусотни, снял пиджачок, завязал рукава, неумело — никогда ничего не умел как следует руками — изготовил подобие мешка. Жена качала головой.

— Володя, — сказала она, — как же ты набросился на них! Как на меньшевиков в Циммервальде.

Отчего-то это сравнение позабавило его. Он представил: вот Нис, вот Айнинген, вот трухлявый Каутский... Он углублялся бы в лес и дальше, но жена выразительно покашливала, и — нечего делать — пришлось из пропахшего мокрой елью сумрака возвращаться на дорогу, идти к шарабану. Когда же они прибыли на станцию, оказалось, что поезд ушел пять минут назад. Видно, они долго провозились с грибами, дыша февральской хвойной сыростью. Следующий поезд был только вечером, через восемь часов.

Естественно было бы вернуться в санаторий, но он не мог заставить себя перешагнуть тицлеровский порог. Им смеялись бы в лицо, еще, чего доброго, спели бы «Прощай, кукушка»... Жена видела, каково ему, и не спорила. Денег было в обрез. Станционный буфет предлагал глинтвейн и сыр. Восемь часов просидели они на сырой и холодной станции. Стемнело. Такой тоски, такого отчаяния не испытывал он никогда. Это поистине была низшая точка его жизни, страшней, чем смерть брата, чем тифозная горячка сестры, чем все его неотомщенные поражения. Никогда не чувствовал он так остро своего ничтожества и неудачливости, как в дождливый февральский день, с полным пиджаком грибов, на станции в горах, в ожидании вечернего поезда.

Восемь месяцев спустя он стал диктатором шестой части суши, судьба которой решалась в эти две недели в санатории с молочной кухней. Здесь между ним и жизнью случился окончательный разрыв, которого не могла исправить никакая революция. Полгода спустя он начал строить свой мир, пригодный для чего угодно, но не для жизни.

Эту историю — достоверную во всем, включая февральские циммервальдские грибы, солдата и прощай-кукушку, я прочел в первом издании воспоминаний его жены, купленном у ялтинского букиниста. На красной книге с желтыми страницами лежал отчетливый отпечаток времени и страны, о которых, должно быть, мечталось ему в горах. Все в городе располагало к жизни, и столовая «Сирень» по соседству щедро предлагала свои котлеты с макаронами.

Прощай, кукушка, думалось мне. Лети к своим деткам, свободная ты птица.

Содержание

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Христос | 5 |
| Отпуск | 23 |
| Обходчик | 39 |
| Ангарская история | 55 |
| Можарово | 70 |
| Чудь | 87 |
| Инструкция | 103 |
| Проводник | 117 |
| Другая опера | 136 |
| Экзорцист-2006 | 152 |
| Из цикла «Варварство» | |
| 1. Предмет | 172 |
| 2. Подлинная история Маатской обители | 188 |
| Синдром Черныша | 216 |
| Лето в городе | 233 |
| Девочка со спичками дает прикурить | 242 |
| Прощай, кукушка | 254 |

Литературно-художественное издание

Быков Дмитрий Львович

Прощай,
кукушка

РАССКАЗЫ

Выпускающий редактор

Д.В.Савиных

Художественный редактор

Т.Н.Костерина

Технолог

С.С.Басипова

Оператор компьютерной верстки

А.В.Кузьмин

Оператор компьютерной

верстки переплета

Е.В.Мелентьева

Корректор

Т.Г.Крastoшевская

Подписано в печать 24.06.2011

Формат 84×90/32. Тираж 4000 экз.

Заказ № 5379

ЗАО «ПРОЗАиК»

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8А, стр. 3

Телефон: (495) 795-01-46

Электронная почта: prozaic@prozaic.ru

По вопросам реализации обращаться:

Книжный Клуб 36.6

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8А, стр. 3

Телефон: (495) 926-45-44

Электронная почта: club366@club366.ru

Информация в Интернете: www.club366.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в «УЛЬЯНОВСКОМ ДОМЕ ПЕЧАТИ»,
филиале ОАО «Первая Образцовая типография»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Считается, что прозаик должен начинать с рассказов. По-моему, это самый трудный жанр, до которого и в старости не всегда дорастаешь. Идеальный рассказ одинаково не похож на стихи и прозу, а ближе всего он, пожалуй, к жанру сна. Большинство рассказов, собранных в этой книжке, как раз и есть такие сны, мои или чужие, иногда смешные, но чаще страшные. Главное преимущество этого жанра, мне кажется, в одном: даже сочинив полсотни таких рассказов, автор все равно не уверен, что научился писать их как следует. А именно из такой неуверенности и получаются интересные вещи.

Д м и т р и й Б Ы К О В

ISBN 978-5-91631-118-1



9 785916 311181